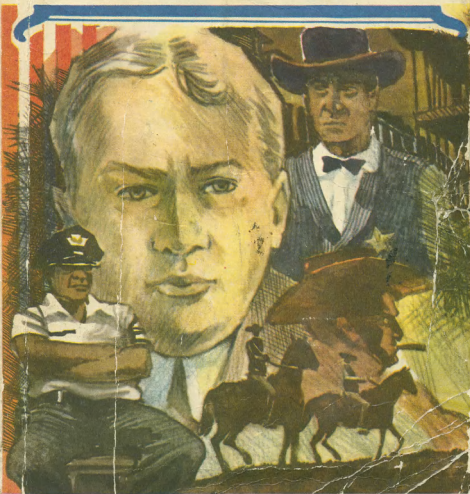




Юлиан СЕМЕНОВ
ПСЕВДОНИМ





Юлиан СЕМЕНОВ

ПСЕВДОНИМ



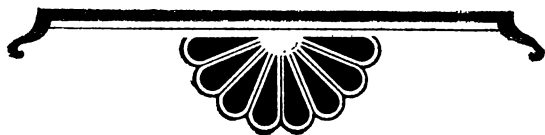
МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1986

84P7
С 30

С $\frac{4702010200-107}{078(02)-86}$ 210-86



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



1

«Дорогой Эрл!

Твоя просьба застала меня врасплох. Я понимаю, как тебе нужны эти девять тысяч долларов, но беда в том, что мой банк требует не только поручительство под выдачу кредита, но и документ, заверенный местными властями, о твоей платежеспособности. Вот так-то. Прости, не я это придумал, а уж голосовать за это власти мне просто-напросто не предоставили возможности: наиболее хитрые злодейства законодатели проводят таким образом, чтобы простые люди даже и не узнали об этом. Порою мне кажется, что человечество одержимо копает вокруг самого себя ров, чтобы пустить туда аллигаторов и превратить мир в большую тюрьму, но не догадывается об этом, и не догадывается до той поры, пока ров не будет закончен, а зубастые аллигаторы не получают сан «священной коровы». Вот так-то.

Пожалуйста, сообщи, на какой срок тебе нужны эти деньги, попробуй организовать поручительство и объясни еще раз — не на пальцах, а с цифровыми выкладками, — что за дело ты надумал, сколь оно надежно

и в какой временной отрезок ты намерен его проверить. Вот так-то.

Остаюсь твоим старым другом
Майклом, Серым Наездником».

2

«Дорогой Майкл!

Деньги мне нужны ненадолго, понимаешь? От силы на пару месяцев. Зачем они нужны мне так срочно, спрашиваешь ты? Отвечаю не на пальцах, а от души (с цифирными выкладками не научился, я доллары хорошо считаю на глаз, а если на бумаге, то путаюсь). На Рио Гранде возле Голубого Брода стоит стадо двухлеток, что-то около трех тысяч голов, и просят за каждого бычка девять долларов, в то время как в Канзас-Сити такой бычок вполне пойдет за пятнадцать баков. Считай сам, какое это выгодное дело. Твой коллега, президент нашего «Скотопромышленного банка» Филипп Тимоти-Аустин, не имеет права давать мне поручительство (а может, не хочет, он из молодых, нашей закалки не имеет). Больше мне не у кого попросить в нашей богом забытой дыре, понимаешь? Самый крупный держатель зелененьких аптекарь Бидл прячет в старом чайнике двести сорок два доллара четырнадцать центов и считает себя богатеем, равным по силе нашему старому приятелю Рокфеллеру вкупе с твоим племянником Морганом-старшим, будь неладны эти акулы...

Филипп Тимоти-Аустин, правда, намекнул, что если ты мой настоящий друг, то выход может быть найден. Для этого необходимо лишь одно условие, чтобы кассиром в твоём банке был верный человек, который отстегнет деньги под мое письменное обязательство вернуть их в двухмесячный срок. При условии твоего за меня поручительства, понимаешь? Тимоти-Аустин сказал, что его кассир есть порождение ада, трусливый суслик, к тому же зять того судьи, которого мы прокатали на выборах, с ним каши не сваришь. Так что я ответил на все твои вопросы, и ты уж ответь на мой: есть ли у тебя верный кассир, или мне купить пару галлонов виски и забыть про тех бычков, которые поправили бы мои дела и позволили построить салун возле той почты, в ящик которой я опускаю это письмо, чтобы оно поспело к тебе завтра поутру.

Остаюсь твоим старым другом
Эрлом — Черной пятницей».

«Дорогой Эрл!

Этот Филипп Тимоти-Аустин неглупый парень, судя по тому совету, который он тебе дал. Наш кассир Билл Сидней Портер — человек очень смешной, как и надлежит быть каждому, кто малюет картинки для их последующей продажи разбогатевшим овцепромышленникам или сочиняет стишки для воскресных газет. Вот так-то. Наш Портер относится именно к такому типу людей — он сочинитель. Я, правда, не очень-то силен в грамоте и не считаю себя ценителем изящной словесности, хотя Ги де Мопассан мне нравится, очень правдиво пишет про то, как блудят в Европе всякие там аристократы, но мой компаньон Андерсон считает Портера надеждой Техаса: «Он и пишет, и рисует, и сочиняет смешные эпиграммы, он прославит наш Остин». Вот так-то. Но Андерсон много чего говорит, и далеко не все из того, что он говорит, сбывается. А даже совсем наоборот.

Но, во всяком случае, Филипп Тимоти-Аустин дал хороший совет. Сразу же по получении твоего письма я переговорил с нашим Портером. Он ответил, что относится к моим друзьям с глубоким уважением, понимает, как «много прекрасного и трагичного пережито» нами сообща, но выразил опасение, что ревизоры могут схватить его за руку, если под выдачу ссуды в девять тысяч долларов не будет соответствующего документа.

«А мое слово разве не документ?» — спросил я, зная, что со всякими там художниками и сочинителями надо говорить не как с нормальными людьми, но как с придурками, которые клюют на сентиментальность, высокое слово, скупую мужскую слезу и все такое прочее. Вот так-то. Портер, ясное дело, ответил, что верит мне, как себе. И что мужская дружба — самое прекрасное, что есть на земле. И ради того, чтобы сохранить ее, он готов на все. Потому что, добавил он, его дочь Маргарет Роуз, которой скоро будет два года, должна расти среди мужчин, которые умеют дружить, ибо только такие мужчины понимают, что значит любить женщину. Вот так-то. Словом, можешь приехать завтра, утренним поездом, и в 11.45 получить девять тысяч долларов. Восемь тысяч бумажками, не совсем новыми, а тысячу — серебряными монетами в прекрасных кожаных мешочках, каждый из которых стоит доллар семнадцать центов. Приплюсуешь эту сумму к процентной выплате, ес-

ли решишь оставить эти чудные мешочки на память о своем старом друге.

Майкл, Серый Наездник».

4

«Многоуважаемый мистер Кинг!

Лишь только зная Ваше ко мне отношение, лишь только памятуя о Вашей давней дружбе с моим покойным дядей Джорджем С. Тимоти-Аустином, я решился на то, чтобы обратиться к Вам с этим письмом и отвлечь на какое-то время от тех государственных дел, которыми Вы, как избранник народа, занимаетесь в Вашингтоне.

Я полагаю, что Вы правильно поймете те мотивы, которые побудили меня обратиться к Вам с этим сугубо доверительным письмом, если вспомните, что в Остине, штат Техас, работает «Первый Национальный банк», для которого не существует никаких законов, поскольку ссуды там выдаются без всякого обеспечения, «по дружбе», в нарушение всех и всяческих Законов Соединенных Штатов.

Если не Вы восстановите порядок, то кто же?!

Примите, многоуважаемый мистер Кинг, мои заверения в самом глубоком уважении, искренне Ваш

Филипп Тимоти-Аустин,
директор «Скотопромышленного банка»
в Остине».

5

«Дорогой Филипп! Я очень хорошо помню твоего дядю Джорджа С. Тимоти-Аустина. Только поэтому отвечаю. Письмо твое мне не понравилось. Ты, видно, считаешь всех на земле глупее себя. Да, я сижу в Вашингтоне. Да, занимаюсь государственными делами. Тем не менее я остаюсь Робертом Кингом, который сделал себя своими руками. И не перестал быть человеком, внимательно следящим за бизнесом вообще, а уж в Техасе тем более. Поэтому я не могу не знать, что «Первый Национальный банк» Остина забивает всех своих конкурентов в округе. А уж твой скотский банк тем более. Вот, видно, куда ты зарыл собаку. Но не сровнял зем-

лю — сразу же заметно. Как тебе известно, я не имею никакого интереса ни в твоём банке, ни тем более в делах «Первого Национального». Поэтому не вижу нужды нацеплять на грудь бляху шерифа, заряжать револьверы и садиться в засаду. Чтобы задерживать. Всех тех, кто получает ссуды без обеспечения. А по одной лишь дружбе.

Хочу дать тебе добрый совет, сынок: думая о себе, думай и о ближних. Если ты решишь, что об окружающих можно только лишь вытирать подошвы ботинок при подъёме по лестнице успеха, то ты скоро сядешь в долговую яму.

Не сердись за резкость. Я считал себя обязанным сказать правду родственнику моего старого друга Джорджа. Тебя, видно, занесло.

Кинг».

6

«Дорогой старина Камингс!

По моим сведениям «Скотопромышленный банк» Техаса готовит к выпуску акции «Силвер филдз», которые дадут прибыль уже в конце этого года как минимум на пять процентов к вложенной сумме. Поскольку президентом этого банка является внук моей двоюродной бабки, он даёт персональную гарантию тем клиентам, которые близки любимшей его старухе, да и вообще всей семье.

Словом, если ты решишь, что у тебя есть верные друзья, которым надо помочь в деле, адресуй их ко мне, я беру на себя юридические гарантии дела.

Твой
П. Прайз».

7

«Дорогой мистер Билл Сидней Портер!

Мы не без интереса ознакомились с Вашими юморесками и карикатурами.

К сожалению, мы не можем рекомендовать в газеты и журналы Ваши юморески из-за их несколько странного стиля (кое-кто из наших коллег заметил, что стиль следует назвать не «странным», но «вызывающим»).

Пожалуйста, не сердитесь за откровенность.

В то же время Ваши карикатуры понравились всем без исключения, и мы намерены предложить их ряду ведущих газет Юга и Западного побережья.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Не считите за бестактность, но всем работникам нашего литературно-посреднического агентства Ваше будущее видится в веселой живописи, но никак не в литературе.

С уважением — Ваш

У. Н. Д. Л. Боу, консультант-редактор».

8

«Дорогой Кинг!

Мой курьер передаст тебе эту записку, по почте ее посылать нет смысла. Техасские банковские скотоводы играют акции «Силвер филдз» из расчета один к пяти за год, что вовсе недурно. Они обратились ко мне неспроста, понимая, что наши с тобою отношения более чем дружеские. Ответь мне, пожалуйста, не обращались ли они к тебе с какой-либо просьбой, а если обращались, то в чем ее смысл. Видимо, они хотят налить масла на сковородку, но неясно, что собираются жарить.

Твой Авраам Камингс».

9

«Дорогой Камингс!

Техасский финансовый скотина подъезжал ко мне по поводу «Первого Национального банка». Мол, там сидят анархисты. Плюют на законы нашей великой родины. И все такое прочее... Я навел справки (это умеет делать Ричард, ты его помнишь по Айдахо). Выяснилось, что зубастые парни в Техасе как мухи летят на «Первый Национальный». А Тимоти-Аустина с его «Скотопромышленным» обходят стороной. Потому что он боится риска. Не обкатался в деле. Пришел на готовенькое. Не знает, как поставить палатку, развести костер, накормить лошадей в горах. Дела его банка, как говорит Ричард, ни к черту не годятся. Поэтому он решил использовать мои связи с финансовым министерством: нарядить в Остин злого ревизора, обгадить тамошний

банк и таким образом убрать конкурента. Все просто. Как мычание старой коровы, которую гонят на бойню.

Ты, видно, догадываешься, что я дал молодому скотобанкиру от ворот поворот. Потому что он посмел играть со мною втемную, этот сосунок.

Теперь же он норовит показать (используя тебя), что мой урок принят им к сведению. Пять единиц к одной в течение года — вполне хорошее предложение. Тем более под личное обеспечение его троюродного племянника двоюродной бабки.

Пожалуй, возьми-ка на нас с тобой полсотни тысяч акций при условии, что они вернутся четвертьмиллионным кушем в конце года. А я взамен на это подумаю, как можно решить вопрос об откомандировании злущего ревизора. Для Остинского банка.

Окончательное решение я оставляю за тобой. На этом письме поставь крестик и отдай моему посыльному. Это будет значить, что мы вошли в дело. Если ты колеблешься и есть хоть один гран риска, сожги мое послание и скажи тому буйволу, который вручит его тебе, чтобы он передал мне привет.

Кинг».

10

«Дорогой мистер Портер!

Как мне стало известно, вы проявили интерес к моей газете «Айконокласт», с которой, увы, я вынужден расстаться по целому ряду обстоятельств, но главным я считаю то, что радикальное направление, избранное мною, открытая борьба против коррупции, продажности политиков, вакханалии беззаконий лишили меня и без того маленькой читательской аудитории. Люди не очень-то хотят читать правду, мистер Портер, поверьте слову старого газетчика, им гораздо приятнее рассматривать веселые картинки, знакомиться со светскими новостями и обводить цветными карандашами цены на те акции, которые сегодня особенно котируются на бирже.

Тем не менее, если Вам как молодому патриоту Честного Печатного Слова, столь угодного Штатам, хочется попробовать себя на новом поприще, сообщаю Вам, что печатный станок и право на издание моей газеты встанут Вам в двести пятьдесят долларов, которые Вы можете вручить мне в любое удобное для Вас время.

Номер своего счета я не даю по той причине, что его у меня нет уже три месяца. Только это и подвигло меня на то, чтобы расстаться с любимым детищем и начать службу проводником на Западном направлении железной дороги.

Примите уверения в моем абсолютном уважении

Эд Кармайкл,
журналист, издатель и фельетонист».

11

«Дорогой Ли!

Поскольку ты, старый бродяга, легче твоих братьев сносил меня, когда я читал тебе свою муру в ту пору, что мы объезжали коней в прерии, прошу прочитать маленькую безделицу, которую я написал для нашей остинской газетенки «Роллинг стоун», редактором которой я ныне стал, взяв ссуду в четверть тысячи долларов. Ответь мне с присущей тебе честностью: полнейшая это чушь или нет? Только, пожалуйста, не показывай эту штуковину никому другому, потому что в молодости можно шалить литературой, а когда ты приближаешься к старости (тридцать два года) и обременен семьею, надо либо писать, либо вообще навсегда забыть об этом паскудном, но столь манящем к себе деле.

Штука, которую я тебе посылаю, называется «Моментальный снимок с нашего президента». Если тебе очень уж неважно будет это читать, порви и брось в корзину для мусора.

Твой друг
Билл Сидней Портер».

12

«Дорогой Билл!

Я всегда говорил братьям, что ковбой-лентяй Билл Сидней Портер оттого полная бездарь в нашем деле, что ему уготована другая судьба, а ведь только гений, то есть сын Божий, может быть наделен всем поровну. Ты, увы, не сын Божий, но ты настоящий молодец, потому что дал хороших тумачков нашему президенту, который строит из себя девственницу, а торгует собою, как самая последняя шлюха.

Однако, мой дорогой Билл, ты должен тщательно взвесить, стоит ли печатать этот рассказ в твоей газете, потому что у президента Кливленда да на следующих выборах будет много сторонников в Остине, и это, я думаю, может весьма серьезно осложнить твоё положение главного редактора. Ты человек доверчивый и честный, только такие, наверное, и могут сочинять, ты не знаешь, как злопамятны люди, ставящие на того или иного петуха во время предвыборного боя, а ты у них отнимаешь не фантик и не «золотое кольцо с бразильским бриллиантом», которое мы изготавливали за полтора доллара, чтобы всучить нуворишам за триста; ты отнимаешь у них шанс на четырехлетнее государственное могущество, которое стоит денег, очень больших денег, Билл.

Ну ладно, ты намекаешь в своей юмореске, что эмблема твоей «Роллинг стоун»* похожа на бомбу, начиненную динамитом, и поэтому от тебя разбегаются в Вашингтоне все чиновники. Но когда ты описываешь, как президент Кливленд, увидев у тебя в руках эмблему твоей газеты, наделал в штаны и начал бормотать, что он «умирает за свободу торговли, за отечество и за все такое прочее», это запомнят. А еще больше его люди не простят тебе того, что ты вывел его совсем уж полным кретином, когда он трусливо завершал про то, что ты «подлый убийца, пускай твоя бомба свершит смертоносное назначение», и все такое прочее. А когда правящий нами дурак понял наконец, что ты не динамитчик, и начал с тобою беседовать об отечестве, и выяснилось, что он о нем ни черта не знает, кроме того лишь, что в Техасе работает его друг Дэйв Кальберсон (кажется, это ваш прокурор, отец твоего друга?), и что «вроде бы этот штат снова объявлен самостоятельной республикой», и вообще «какого цвета он изображен на карте, такого ли, каким он является на самом деле?», хочется закричать в ужасе: «Господи милосердный, кто нами правит?!»

Кливленд — яростный противник серебряной валюты, поэтому у него есть могучие сторонники в Техасе, им не понравится, что ты выставил их человека полнейшим идиотом. Стоит ли тебе лезть на рожон? Конечно, если ты готовишь себя к политической карьере — тогда дело

* «Роллинг стоун» — дословно название газеты Портера можно персводить как «катящийся камень», тогда как по-английски это «перекати-поле». Портер нарисовал эмблему своей газеты: перекати-поле, начиненное ядром с динамитом, похожее на камень, и с зажженным фитилем.

другого рода, можно рискнуть, но ты мне об этом раньше ничего не писал. Если же ты просто-напросто задираться, то подумай семь раз, прежде чем отрезать. Тебе могут мстить, а месть сильных беспощадна и неуязвима...

...Я бы не стал тебе так писать, не будь эта штука талантливо сделана. Президентов ругать никому не возбраняется, но ты это делаешь столь искрометно, так необычно, так в первые, что это нельзя не заметить и, заметив, не запомнить...

Нет ничего ужаснее столкновения таланта с бездарностью, доверчивости с коварством, честности с моральным извращением, любви с эгоизмом, открытости с самовлюбленной недоверчивостью. Тебя пока что миловала жизнь, ибо ты ее не задирал, сидел себе в кассе и выдавал баки нашему брату. Только поэтому ты «проскакивал», Билл, только поэтому и ни по чему другому. Хватит ли у тебя сил выстоять? Всякое заявление самого себя во весь голос есть не что иное, как объявление войны конкурентам. А их у тебя будет много, потому что имя им серость, а нет ничего могущественнее серости, ибо она удобна, она никого не беспокоит, не заставляет думать, все тихо, пристойно и ползуче.

Ты уж извини меня, Билл, но я должен закончить это мое письмо обязательной банальностью, принятой у людей, которые не ненавидят друг друга: у тебя есть жена, которая слаба здоровьем, и прекрасная дочурка. Подумай не раз и не два, прежде чем решить напечатать свой грустный рассказ в пока еще твоей газете.

Твой друг

Ли Холл».

13

«Моя дорогая Этол!

Вместо того чтобы сочинять очередную юмореску для нашего «Перекасти-поля», пока клиенты банка обедают, сижу и смотрю в одну точку перед собою и ничегошеньки не понимаю, и мыслей в голове нет, лишь свистит что-то (если бы вихрь свободы!).

Я смотрю на фотографию — ты и наша малышка Маргарет Роуз, люблюсь ею и тобою и испытываю щемящее чувство любви к вам, но я не могу, не умею понять, отчего ты стала столь часто выражать такое от-

крытое неудовольствие мною? Зачем такие вспышки гнева, раздражительности, к чему так обижать того, кто предан тебе каждой клеточкой своего существа?!

Мне ведь и работать после такой сцены не вмоготу, Этол!

Я начинаю презирать самого себя.

Я посылаю нарочного с этой отчаянной запиской. Ответь, что мне надо делать? Я подчинюсь.

Твой Билл».

14

«Мой милый!

Тебе надо простить свою глупую, вздорную Этол, которая все-таки чуть-чуть больна и поэтому не всегда может уследить за собою.

Тебе надо не принимать меня всерьез и знать, что я люблю тебя.

Тебе надо меня простить и срочно написать самую веселую юмореску, на какую ты только способен. А ты способен на все, и нет на свете никого талантливее, любимее и добрее, чем ты.

Твоя глупая жена.

Этол».

15

«Дорогой Эрл!

Мне, конечно, совестно напоминать тебе о том пустяке, который ты должен мне вернуть, но я вынужден это сделать потому, что сегодня в наш «Первый Национальный банк» заявился худосочный тип и сунул Биллу Портеру, сидевшему в кассе, свою бумагу, из которой явствовало, что он является ревизором финансового ведомства и намерен провести учет всех наших документов. Вот так-то.

Для нас это было как гром среди ясного неба, ибо наш прежний ревизор, Том, никогда не измывался над Биллом Портером и главным бухгалтером Вильгельмом, рассказывал новые анекдоты из столицы, угощал настоящими сигарами и явно тяготился своей работой, которую не определишь иначе как труд Легавой Ищейки, натренированной на Подружейную Охоту по Доверчивым Двуногим.

Поначалу все шло хорошо, но потом Ишейка наткнулся на твою бумагу про девять тысяч. Билл Портер, работающий теперь по вечерам в редакции своей задиристой газетенки, а потому окончательно свихнувшийся с ума от писанины, не смог ничего объяснить Очкастой Змее из Вашингтона, и это пришлось делать мне. Мои объяснения про то, что ты мой старый друг и что ты однажды решил сесть за меня в тюрьму, когда я в состоянии проклятого лунатического криза взял из сейфа казенные деньги и спрятал их в своем шкафу и все считали, что мы их с тобой уворовали, но у меня были дети, а ты был холост и поэтому вознамерился отсидеть вместо меня, признавшись, что ты их увел, хотя своими глазами видел, как я эти деньги прятал; и если бы не Случай, тебе пришлось-таки бы отсидеть, не найдись случайно проклятые доллары, — на этого геморроидального очкарика совершенно не подействовали. Он дал мне двадцать четыре часа на то, чтобы я вернул девять тысяч в кассу, иначе он пошлет в Вашингтон телеграмму, Банк опечатают, а против Билла Портера, который выдал тебе эти деньги, начнут уголовное дело. Вот так-то.

Прошу тебя отправить вместе с моим посланцем твой долг, если ты сам не сможешь навестить меня, чтобы мы посидели в салуне, попили хорошего виски и вспомнили молодость, — не знаю, как ты, а я все чаще и чаще думаю о наших юных годах. Видимо, это приходит к человеку тогда, когда начинается настоящая старость, то есть успокоение. А всякое успокоение означает тишину и отсутствие движения. А это, в свою очередь, предшествует образованию зеленой тины, предтечи тления. Вот так-то.

Прости за то, что я так грустно заканчиваю это послание.

Твой друг
Майкл,
Серый Наездник».

«Дорогой Макс!

Вчера я отправил письмо Эрлу с просьбой вернуть мне небольшой должок, девять тысяч долларов, который он взял в нашем «Первом Национальном банке»

Остина три месяца назад под мое честное слово. Как выяснилось, «честное слово» теперь не является документом, «к делу не пришьешь», сказал ревизор из Вашингтона, Сын Змеи с Отрубленным Хвостом и без Семенников, но с Жалом. Вот.

Эрл, оказывается, не вернулся еще из своей поездки в Канзас-Сити, поэтому я просил бы тебя выручить меня девятью тысячами долларов сроком на три дня; как только Змея уползет в Хьюстон, я сразу же верну тебе эти деньги.

Если этого моего письма будет почему-либо недостаточно, я прилагаю сертификат о том, что передаю в твое владение мою аптеку, салун и гостиницу возле вокзала, которые оцениваются в одиннадцать тысяч долларов, — в случае, если я не верну занятую у тебя сумму через три дня.

Просил бы передать деньги с нарочным, который везет тебе это письмо. У меня осталось всего девять часов до того контрольного срока, который дала Змея. Если я не положу в кассу эти деньги, то дядя Сэм арестует моего кассира и счетовода Билла Сиднея Портера и, таким образом, престижу моего Банка будет нанесен такой апперкот, который может заставить нас выбросить на ринг белое полотенце. Вот так-то.

Остаюсь твоим старым другом

Майклом, Серым Наездником».

17.

«Дорогой мистер Планкенхорст!

Я не посмел бы вас отрывать от той гигантской работы, которую вы проводите, редактируя столь влиятельную «Свободную Детройтскую прессу», если бы не обстоятельство, в определенной мере чрезвычайное.

Позволю напомнить о себе: еще пять лет назад Ваша газета любезно опубликовала мои первые опыты. Ваши сотрудники оценили мой труд сравнительно высоко, я получил гонорар в шесть долларов и предложение еженедельно присылать мои скучные нотации, отчего-то великодушно наименованные вами как юморески. Я и делал это, исполненный чувства благодарности к Ва-

шим коллегам, столь добро поддерживавшим скромные начинания провинциального любителя, проводящего восемь часов в кассе «Первого Национального банка», а восемь часов, остающиеся свободными после работы, отдающего унылому сочинительству.

Совсем недавно я рискнул купить лицензию на газету и теперь издаю в Остине «Роллинг стоун»; ее название казалось мне более всего выражающим смысл журналистской работы: даже песчинка, брошенная в стоячее озеро, рождает круги, пусть даже маленькие, а уж мое «Перекасти-поле» вполне может родить обвал в горах! (Не сердитесь, это я так шучу.) Тем не менее я убежден, что шум и движение угодны прогрессу, затхлость и тишина — консервативному прозябанию, которое всегда непатриотично по отношению к стране и ее гражданам.

Чтобы успешно работать в газете, я трачу практически весь свой оклад содержания в Банке на приобретение книг, причем не только справочных. Я полагаю, что нашему времени угодна компетентная журналистика, а лишь хорошие книги рожают истинную компетентность.

Только поэтому, сэр, я осмелился обратиться к Вам с почтенной просьбой выслать мне гонорары за последние полтора года. Видимо, они задержаны по досадной случайности.

По моим подсчетам, Вы должны выслать мне семьдесят восемь долларов. Для меня это вполне серьезная сумма денег, которая позволит оплатить счет за те книги, которые пришли наложенным платежом из Нью-Йорка.

Как Вам известно, газета, особенно в пору становления, дает весьма скудный доход, лишь бы свести концы с концами, поэтому рассчитывать на то, что я смогу расплатиться за книги из поступлений за продажу нашего «могучего» органа «Перекасти-поле», не приходится — во всяком случае, пока что.

Не могу не поделиться с Вами также и тем, сэр, что я собираю для моей дочери Маргарет все издания на английском, испанском и французском языках «Сказок дядюшки Римуса». Это самая любимая литература моего самого любимого существа. Мать Маргарет (моя жена) тяжело больна, поэтому большая часть ответственности за воспитание ребенка лежит на мне, а я убе-

жден, что нет более доброго воспитателя, чем хорошая книга.

Только эти обстоятельства вынудили меня обратиться к Вам. Я убежден, что Вы, как коллега и отец, верно поймете те послы, которые подвигли меня на шаг, предпринятый мною первый раз в жизни. Я могу ждать любое время, ибо исповедую в жизни один-единственный девиз: «Честность и неприязнательность», но кредиторы не всегда состоят с нами в одном клубе.

Почтительно Ваш
Уильям Сидней Портер».

18

«Дорогой Майкл, Серый Наездник и Большой Драчун!

Посылаю тебе пять тысяч двести сорок четыре доллара. Это вся наличность, которая оказалась у меня в банке, дома и у Зигфрида Розенцвейга.

Если ты не сможешь перекрутиться в других местах, чтобы достать недостающие баки для Очкастой Змеи, попробуй дружески поговорить с Биллом Сиднеем Портером.

Дело в том, что я знал его отца О. Портера. (Кажется, его звали Олджернон Сидней.) Большого чудака в округе не было. Заниматься бы ему врачебной деятельностью, так он, дурында, все время отдавал изобретению вечного водяного двигателя, аппарата для летания по воздуху (!), а также специального механизма для обработки и уборки хлопка, который может заменить труд негров на плантациях Юга. На этом он чокнулся, бедняга! Хотя, видимо, болезнь в нем сидела всегда, поскольку он объявил во всеуслышание, что за врачебную практику не берет с «бедных и с негров». (У него, кстати, лечился Джозеф Баксни, ты его должен помнить, он похитил судью Плэйка и потребовал за него выкуп и так его кормил, что судья вызвал к себе в заточение всех друзей, только б полакомиться на дармовщину. Словом, Баксни, заработав на перепродаже рудников пару сотен тысяч, бесплатно лечился у старого идиота и даже брал, не платя, лекарства, намекая, что у него прабабка была негритьянка, — жаден был до ужаса наш старик Баксни.)

Я убежден, что яблоко от яблони падает недалеко. Поэтому, если ты не сможешь положить в сейф все девять тысяч, объясни ревизору, что твой кассир — славный и честный парень, но у него наследственная дурь, такая-то и такая-то, залей ему мозги как следует, а этому самому Биллу Сиднею объясни, что его дело твердить о своей невиновности, «так, мол, и так, не виноват, и все тут». Надо выиграть время, понимаешь? День-два, а там наскребешь недостающее и сунешь в кассу. Объясни Портеру, что его выручат, он — пешка, короли помогут, только пусть себе молчит! Главное, чтобы Портер не назвал твое имя, потому что дядя Сэм вцепится в твою бороду так, что ты от него дешево не отделаешься: он любит мутузить банкиров что послабее, на Рокфеллера с Морганом руку поднять боится, но любит похвастать перед избирателями, что, мол, нам все ни почем, банкир или не банкир, нарушил закон — марш в тюрьму на десять лет, и никаких поблажек!

Посули Биллу Сиднею Портеру, сыну безумного врача и изобретателя, что ты отблаговодишь его за эту услугу, объясни, что лишь взаимная выручка делает мужчин настоящими ковбоями.

Остаюсь твоим старым другом

Максом, Куриным Яйцом».

19

«Многоуважаемый мистер Камингс!

Результаты ревизии, проведенной в «Первом Национальном банке» Остина, заставляют меня настаивать на том, что документация ведется из рук вон плохо, кассир и счетовод м-р У. С. Портер совершенно некомпетентен в работе (если не хуже того, но это будет решать прокурор и суд, а не я), отчетность неудовлетворительна, что и привлекло к недостаче в кассе банка четырех тысяч двадцати семи долларов пятнадцати центов.

Следовать ли мне дальше, в Хьюстон, для проведения следующих ревизий? Или же подзадержаться в Остине для выполнения Ваших дальнейших указаний?

Остаюсь, сэр, преданный Вам

Айвор Монт,
ревизор и финансист».

«Окружному прокурору Дэйвиду А. Кальберсону,
Хьюстон, Техас,
и всем, кого это касается

Ревизия в «Первом Национальном банке» Остина обнаружила недостачу четырех тысяч двадцати семи долларов пятнадцати центов, а также преступную нерадивость в записях ссуд.

Поскольку кассиром работает Уильям Сидней Портер, рожденный 11 сентября 1862 года в Сентр Комьюнити, что под Гринсборо, штат Северная Каролина, в семье доктора медицины Олджернона Сиднея Портера и его жены Мэри Суэйн, дочери distinguished квакера Уильяма Суэйна, редактора газеты «Гринсборо пэтриот», поскольку означенный Уильям Сидней Портер не смог дать сколько-нибудь серьезных объяснений по поводу обнаруженной недостачи в сумме четыре тысячи двадцать семь долларов и пятнадцать центов, поскольку он отказывается признать себя виновным в похищении означенной суммы, поскольку, наконец, он вообще не желает давать никаких показаний в связи с обнаруженной растратой, а также нарушением кассовых записей, Вам надлежит возбудить против Уильяма Сиднея Портера уголовное дело по обвинению в воровстве и преступной нерадивости по службе.

Советник федерального ведомства финансов
по контролю за банковскими операциями

Дж. Спенсер Уайт-Младший».

«Дорогой Майкл!

Я никогда не смогу забыть того, что ты дал мне триста долларов — без всякой расписки с моей стороны, просто так, от чистого сердца, чтобы я смог поехать в город и поступить в колледж, на факультет права.

Я никогда не забуду, как все ковбой смеялись над моей неловкостью, неумением держаться в седле и страхом перед сумасшедшими аллюрами по крутым склонам. Я всегда буду помнить, что ты был единственным, кто защищал меня, как отец, брат и друг.

Именно поэтому я не могу не отправить тебе копию приказа, полученного мною из Вашингтона, по поводу

Билла Сиднея Портера, этого паршивца и бумагомарателя, который бросил тень на престиж и достоинство твоего Банка, созданного — это известно всем — самыми уважаемыми гражданами Остина во главе с тобой и стариком Андерсоном.

Я готов выйти в отставку, дорогой Майкл, только бы хоть как-то отслужить тебе то добро, которое ты столь щедро и по-отцовски сделал для меня.

У меня не поднимается рука, чтобы причинить тебе хоть самую маленькую неприятность.

В ожидании ответа,

Дэйв А. Кальберсон, прокурор».

22

«Дорогой Дэйв!

Сердечно тронут твоим письмом. Вот.

Ответь мне на следующий вопрос: должен ли ты возбуждать уголовное дело в том случае, если Портер уже погасил свою задолженность и внес те деньги, которых не оказалось в кассе во время ревизии?

Теперь в кассе нет недостачи. Все образовалось. Речь идет, как я убежден, о малоопытности кассира Портера, но никак не о преступлении. Вот так-то. Неужели ты думаешь, что мы терпели бы в нашем Банке вора? Согласись, мы, наша когорта, имеем нюх на людей и плохого парня не приняли бы в свою компанию. Даже на такую грошовую работу, как счетовод, мусолящий чужие баки.

Я ни о чем не смею тебя просить, сынок, ты мне дорог как воспоминание о безвозвратно ушедшей молодости (все возвращается — жена, деньги, дети — только молодость невозвратима), да и твое пребывание на столь важном посту, говоря откровенно, льстит моему самолюбию, все люди падки на знакомство с теми, кто сидит в высоких креслах и влияет на жизнь штата, так что, бога ради, не подавай в отставку! Вот. Мы намерены попробовать двинуть тебя еще выше, кое-какие разговоры уже проведены, но в таких вопросах, как понимаешь, опасно переторопиться.

Ты лучше подумай, Дэйв, как можно исхитриться, — ни в чем, ясно, не преступая черту закона, — чтобы погасить дело Портера, бросить его из твоего шкафа в архив и забыть?

Ты прекраснейшим образом понимаешь, что во всем этом происшествии меня волнует не судьба молокососа Портера, но престиж нашего Банка. Кто пойдет к нам, если люди будут знать, — и не из разговоров, а по решению прокурора, — что в «Первом Национальном» на виду у руководителей, среди белого дня работают жулики и прощелыги, а что еще страшнее — малокомпетентные люди? Вот.

Подумай и ответь мне, сынок.

Очень жду твоего ответа. Вот так-то.

Остаюсь твоим верным старым другом
Майклом, Серым Наездником».

23

«Дорогой Боб!

С тех пор как мы расстались после выпускного вечера в нашем колледже, я ни разу не встречал никого из наших, что, конечно, жаль. Поскольку наши с тобой отношения отличались доверительностью, я позволю обратиться к тебе с большой просьбой.

Человек, оплативший мое обучение в колледже, попал в неловкое положение: клерк его Банка украл какую-то мелочь из кассы; это сразу же попало на зубок ревизоров из Вашингтона, а тем надо как-то показывать работу, чтобы пробиваться наверх. Ну и завертелось дело, которое не стоит выеденного яйца! Несмотря на то, что деньги давно внесены в кассу, случайная недостача его покрыта, Вашингтон требует, чтобы я возбудил уголовное дело против Банка, а один из его президентов именно тот, который был моим благодетелем.

Если ты сочтешь мою просьбу тактичной, подскажи, как мне следует поступить. Поскольку ты сидишь в судебском кресле, а я лишь в прокурорском, тебе виднее все в совокупности.

Искренне твой
Дэйв Кальберсон».

24

«Дорогой Ли!

Мне рассказывали, что на Аляске бытует смешное выражение: «Битому не спится». Именно потому, что

оно бытует, я считаю его истинным; все, что химерично, хоть даже поддерживается властью и религией, обречено — рано или поздно — на исчезновение, тлен, беспмятство. Поэтому выскажи свои соображения по поводу писульки, которую я намерен опубликовать в моей «Роллинг стоун». Пиши нелицеприятно, так, как ты ответил мне по поводу той штуки о президенте, которую я все-таки опубликовал, несмотря на твои предостережения. (Прокурор Кальберсон сказал в связи с этим своему сыну, что я — сука.)

Кстати, через месяц после твоего предостережения на меня покатила камни значительно более тяжелые, чем моя «Роллинг стоун»; до сих пор грохочет, как тогда, в горах, когда мы с тобою переходили сыпучую балку и твоего каурого унесло в пропасть. Ну да ничего, обойдется.

Но все-таки честно скажу тебе, Ли: как-то скучно становится жить на белом свете...

Ну, слушай писулю: самая великая книга — это жизнь, которая нас окружает. Все, что может постичь человеческий разум, все, что могут передать слова, заключено в крошечном мирке, куда нас заключили с рождения. Тот, кто обладает пронизательным взглядом, вполне может обнаружить под пыльным покровом удрушающей повседневности трагические, романтические и комические скетчи, которые разыгрываем мы — большие и маленькие актеры, — выпущенные на какое-то время сюда, на подмостки Вселенной.

Впрочем, жизнь нельзя определять ни как чисто трагический спектакль, ни как комический водевиль, это слезы и смех. Именно так, ибо Всесильные руки дергают за незримые веревочки, и тогда хохот прерывается рыданием или же неожиданное веселье приходит в час глубочайшей скорби.

Мы танцуем и плачем, как и все марионетки, отнюдь не по собственной воле, да и спать укладываемся в деревянные ящики именно тогда, когда гаснут сверкающие огни рампы, освещавшие наше место на сцене, и наступает темнота, словно ночь, укрывающая своей бездыханной мглой арену краткого, как миг, триумфа.

Мы проходим по улицам, скользя рассеянным взглядом по лицам тех, кто на самом-то деле вровень с теми великими героями, которых воспевали поэты. Однако же далеко не все могут различить в глазах неприметных женщин и совершенно обыкновенных мужчин отпе-

чатки тех страстей, что высверкивали на страницах романов и поэм.

Ученый в таинственной и взрывоопасной тишине библиотеки, дровосек в кафедральном, солнечностволом сосновом лесу, моя возлюбленная в своем будуаре и разгульная, намазанная бродяжка с жесткими глазами — все слеплены из одной глины.

Руки Судьбы дергают за незримые веревочки, мы делаем пируэты, одни возносятся вверх, другие обрушиваются вниз, Случай или Потаенное Божество бросают нас то в одну, то в другую сторону, — где мы окажемся в конце концов? Незрячие куклы, мы болтаем и болтаемся на краю непознаваемой вечности. Все мы вышли из одного корня... Король и каменщик равны между собою, если, впрочем, не считать их окружения; королева и доярка усядутся на обрывистом краю Судьбы, одна с короной, другая с ведром, но кто окажется сильнее и выше, когда Судьба начнет разбирать дела всех своих марионеток?

Напиши мне, Ли, о чем-нибудь веселом. Только не пиши о тех годах, когда мы были беззаботными девятнадцатилетними ковбоями — это звучит сказкой, а взрослым людям опасно верить сказкам, может разорваться сердце или начнется запой.

Твой Сидней Портер».

25

«Дорогой Дэйв!

Я был рад получить твоё письмо, и хоть оно носит характер делового, но все равно, я сразу же вспомнил нашу молодость и подумал, что люди до двадцати пяти лет, пока они еще не сели в седло дела, самые счастливые на земле, ибо им не надо ложиться спать с мыслью о том, что надлежит повернуть завтра. Мечтатели — что может быть счастливее этой должности на земле, которую Творец так щедро отдал молодым?!

Ладно, это я высказал свою обиду! Теперь по поводу твоего вопроса. Для меня не составило труда вспомнить, кто был твоим благодетелем, я соотнес имя того человека с ситуациями в Банках, запросил моих друзей в Техасе и получил ответ, что речь идет о «Первом Национальном» в Остине, о его кассире м-ре Портере. Лишь потому, что я был вынужден заниматься наведе-

нием справок, вместо того чтобы сразу же тебе ответить, я и запоздал с этим моим посланием.

Говоря откровенно, у тебя нет никаких шансов, Дэйв! Ты обязан возбудить дело против этого прощелыги Портера, который занимается тем, что одной рукой пишет дешевые пасквили против президента в «Роллинг стоун», а другой тягает из кассы деньги, принадлежащие гражданам, оказавшим доверие твоему покровителю.

Однако если твой благодетель обладает силой (а он обладает ею), вполне можно найти возможность обсудить вопрос с Большим Жюри, которое единственно и вправе принять окончательное решение: посадить Портера на скамью подсудимых или же удовлетвориться тем, что он вернул все деньги.

Это делается вполне легально, закон не будет нарушен ни в малости.

Ты, как прокурор, не можешь не обличить зло и преступление. Большое Жюри, в свою очередь, имеет законное право удовлетвориться статус-кво, особенно в том случае, если руководство Банка не требует крови Портера. Прокурор травит преступника, как гончая — зайца; Большое Жюри подобно охотнику, который может промазать, а порою, — если зайчишка еще слишком мал, — просто-напросто пожалеть его и не вскидывать дробовик. Прокурор требует максимума, суд, наоборот, более всего думает о гуманизме.

Конечно, если прокурор так представит дело Большому Жюри, что речь идет о кошмарном преступлении, то надежда на локальный исход дела маловероятна! Если же ты — по закону совести — полагаешь, что дело не представляет угрозы Закону и морали, Большому Жюри будет нетрудно принять искомое решение, которое обозначит порок, но при этом проявит гуманность, полагая, что чем меньше обвинительных приговоров, чем меньше арестантов в тюрьмах, тем меньше детей, оставшихся без отцов, тем благополучнее общество, ибо в нем нет дрожжей взаимного зла, которое разлагает общество и, конденсируя в нем злобу, делает его взрывоопасным.

Тебе может показаться странным мое письмо, ибо я всегда стоял на позиции «жесткой руки», но чем дольше я сижу в судейском кресле, чем больше людских трагедий проходит через меня, тем чаще я задумываюсь над тем, кто повинен в людском горе.

Если стать на точку зрения, что преступниками рождаются, тогда возникает вопрос: в какой мере это угодно Создателю? Ведь он творит людей по своему образу и подобию, а ему не нужны ни злодеи, губящие женщин и детей, ни гангстеры, взламывающие банки, ни тихие растратчики с манерами французских сутенеров.

Видимо, все же виновато Общество, Дэйв. А мы с тобою служим его Столпам. И если Столпы не думают о том, как нивелировать полярную разницу, приводящую к преступлению, рожденному обидой неравенства, то нам с тобою сам Бог велел подумать об этом.

Отныне любое сомнение я толкую в пользу обвиняемого, и никто не сможет меня столкнуть с этой моей позиции.

Был бы рад, найди ты возможность приехать ко мне в гости. Я построил очень красивый дом, двенадцать комнат, застекленная веранда и красивый бассейн; мы бы пожили с тобою так, как когда-то в маленькой комнатухе, когда учились в колледже. Поговорили бы всласть. В нашем возрасте, когда мы приближаемся к безжалостному рубежу старости, это порою бывает совершенно необходимо.

Остаюсь твоим другом

Бобом, Добрым Судьей, которому за это свернут шею».

26

«Дорогой Ли!

Меня давно тянет написать очередную безделицу про слово «если бы». О, это великое слово! Когда бы человек смог реализовать его потаенный, мистический смысл, жизнь его стала бы сказочно счастливой.

Если бы я был вором, я бы открыл специальную школу для жуликов и с каждого брал всего лишь доллар за учебу, потому что курс обучения длился б не более получаса, а то и того меньше. Я бы рассказывал тем, кто решил стать на стезю порока, лишь одну историю: в некотором царстве, в далеком государстве жулики работали так массово, что шейх решил сделать образцовый процесс и публично, на страх всем, казнить самого главного вора. Но для этого надо было придумать такую провокацию, которая бы отдала ему в руки злоумышленника. И вот хитрый шейх повелел поставить на площади мешок, полный золота. А стра-

же приказал занять наблюдательные посты как с левой ее стороны, так и с правой, чтобы никто не мог ускользнуть. Если даже предположить чудо и допустить, что жулик окажется сноровистым и сможет убежать, то его все равно опознают те, кто сидел в засаде и справа от мешка и слева.

Тайна существует для того, чтобы про нее узнавали; если хочешь, чтобы о чем-то никто не узнал, не делай из этого секрета; только запретный плод сладок, все разрешенное никого не интересует; пару недель пошумят и забудут то, что было у всех на языке.

Шейх, однако, пренебрег этим золотым правилом, и его приказ страже сидеть в домах, лавках и на чердаках справа и слева от огромного мешка с золотом стал известен самому умному вору царства. Тот купил костюм шута, покрасил правую часть в черный, а левую — в белый цвет, приобрел коня, таким же макарон перекармливал и его, и лицо свое сделал двухцветным. После этого он сел в седло, прищипорил скакуна, понесся на площадь, ухватил мешок — и был таков!

Шейх пришел в ярость. Часть стражников утверждала, что вор был на черном коне в черном костюме, другая — что он был на белом коне и в белом костюме. Полетели в корзины головы стражников, а главный вор купил себе маленький халифат неподалеку и установил с незадачливым шейхом дипломатические отношения, обменявшись с ним послом и консулом...

Если бы я был вором, если бы я сочинил эту сказку, перед тем как заниматься грабежом, я был бы счастливым человеком, не находишь?

...Моя нежная Этол совсем изменилась из-за постоянных приступов туберкулеза. Она взрывается из-за любого пустяка... Разве хоть один мужчина решился бы на брак с прекрасной девушкой, имея он возможность заглянуть в то будущее, когда заботы, трудности, счастье и горе превратят его Дульсинею в совершенно другое существо?!

Страшная безысходность бытия сокрыта в том, что все повторяется, дорогой Ли! Все возвращается на круги своя. Одни считают, что людям надобно постоянно напоминать об этом, и таких большинство, в то время как я отношусь к меньшинству, к тем, кто все больше и больше убеждается: нет, не надо человека, словно щенков неразумных, тыкать носом в их же дерьмо.

Каждому надо оставлять пару грошей надежды, каждый должен быть убежден, что вот сейчас, за поворотом, в свете уличного фонаря ему встретится самая прекрасная женщина; она никогда не изменится и всегда будет ему любовницей, другом, священником, который легко и добро отпускает все грехи. Каждый обязан иметь право верить, что завтра он, устав от многолетних стараний, увидит наконец в лотке, сквозь который мыл породу, серый тяжелый самородок; каждый должен верить в то, что его салун, который был сколочен из досок, вдруг посетит заезжий певец и туда повалит народ, а тут еще пойдут дожди, и поселок будет отрезан от других городков, и люди станут пить, и будут платить за стакан виски не сорок центов, а доллар, и ливни будут продолжаться три недели кряду, и человек станет состоятельным, никого при этом не ограбив.

Ты ведь веришь мне, что я не крал проклятые деньги в кассе «Первого Национального банка»? Ты поэтому должен понимать, что я каждое утро просыпаюсь с верой в чудо: тот, кто знает всю правду, придет в Большое Жюри и скажет собравшимся, что все дело было так и так и Портер здесь пятая вода на киселе.

Беда, впрочем, заключается в том еще, что я не просыпаюсь с мечтой об этом; и засыпаю-то я с такого рода мечтой, и она бывает такой убаюкивающе-сладостной, так мне спокойно жить, когда она живет во мне... Но как страшно расставаться с нею днем, дорогой Ли!

А в общем-то жизнь идет нормально, я много думаю о будущем, строю планы и сочиняю смешную ерунду с использованием многочисленных «если бы»...

Извини за то, что я так долго, скучно и слезливо ныл.
Твой Билл Портер».

«Дорогой Эрл!

Уж и не знаю даже, что написать тебе о последних событиях...

Вроде бы все образовалось, снова в Остине тихо, скандал с делами нашего Банка погашен, твой долг получен, отдан тем, кто возместил недостающую сумму, но ощущение тревоги не отпускает меня. Вот.

Билл Сидней Портер держал себя так, как ты рекомендовал, парень проявил себя молодцом, но в нем после всего родилось какое-то внутреннее ожесточение. То, что он печатает в своем «Перекасти-поле», восстанавливает против него очень многих. Начал он с домовладельцев, мол, обижают бедненьких квартиросъемщиков; потом опубликовал злые карикатуры на отцов города, а теперь стал заниматься правдоискательством в вопросе о «диких землях», которыми пока еще можно с выгодой спекулировать. Вот. Теперь мои отношения с ним таковы, что говорить откровенно, как раньше, уже нельзя. Я чувствую себя неловко; говоря честно, во всем том, что на него обрушилось, виноват один я. Конечно, пока что я не допускаю мысли, что он решится во всеуслышание сказать правду, да и в конце концов больше поверят мне, чем ему, но удар по репутации, теперь уже лично моей, а не банковской, это может нанести.

А парень он странный, я вроде говорил тебе... Здесь уже забыли, как он стал зятем миссис и мистера Роча, одного из самых состоятельных граждан Остина, но я помню. Вот так-то. Тот его поступок совершенно не вяжется с его нынешним обликом: действительно, своровать дочку Этол, отвезти ее в церковь и венчаться без согласия родителей — штука в наших краях рискованная, а Роч — такой мужик, который умеет постоять за честь падчерицы.

Я бы не хотел, чтобы Портер показал зубы, а два факта — история с похищением будущей жены и теперешние нападки на уважаемых граждан, когда многие разделились во мнениях — был мой кассир вором или нет, — вполне позволяют считать, что он вполне может пойти на то, чтобы зарычать оскалившись, а потом и укусить.

Поскольку ты был в юности дружен с покойным отцом Этол Портер, не счел бы ты возможным каким-то образом повлиять на нее в том смысле, чтобы она подействовала на тихого, молчаливого, а потому все более и более малопонятного мне мужа?

Если тебе покажется обременительной эта просьба, забудь о ней и расскажи-ка мне про то, правда ли, что серебряные акции Филиппа Тимоти-Аустина из Скотского банка действительно стоит покупать?

Твой старый друг Майкл, Серый Наездник и директор Банка, который пока еще чудом не прогорел».

«Дорогой мистер Кинг!

Я был счастлив, получив от мистера Камингса решение вновь обратиться к Вам, теперь уже не как к высокочтимому деятелю вашингтонской администрации, но как к человеку и гражданину, оценившему вклад нашего Скотопромышленного банка в дело развития геологии и горной индустрии не только Техаса, но и всей территории, прилегающей к зыбкой и опасной мексиканской границе.

Однако, уважаемый мистер Кинг, я не могу не огорчить Вас сообщением о том, что «Первый Национальный банк» Остина, вполне оправившийся после ревизии, которая окончилась для него вполне благополучно, не только скупил значительное количество наших акций, но, как мне стало известно из вполне надежных источников, намерен финансировать дело, угрожающее тому начинанию, которое Вам так понравилось.

В Вашем первом письме Вы учили меня прямоте, советуя обозначать все параметры дела, сколь бы щепетильным оно ни было. Благодарю Вас за урок, мистер Кинг. Отныне я всегда буду следовать этому совету. Именно поэтому и формулирую: решение Большого Жюри Остина, прекратившее дело против «Первого Национального», уже нанесло ущерб нашему предприятию. Если не поправить дело, потребовав пересмотра и отмены решения Большого Жюри, ущерб будет еще более значительным.

Со своей стороны, я намерен негласно подействовать на общественное мнение так, что люди поостерегутся иметь дело с «Первым Национальным», сколь бы заманчивыми ни были его предложения, ибо в том банке держат жуликов.

Вы преподали мне хороший урок, мистер Кинг, я оценил его по достоинству. Полагаю, Вы не будете на меня в обиде, если я скажу, что шаги, предпринятые с Вашей помощью для смены ревизора и тщательного исследования бумаг в «Первом Национальном», были совершенно недостаточны.

Остаюсь, мистер Кинг, Вашим истинным почитателем Филиппом Тимоти-Аустином, банкиром».

«Дорогой Ли!

Все чаще и чаще я вспоминаю наши годы в Гринсборо, и все настойчивее и постоянной звучат во мне три слова: «Когда мы были молоды». Нет, прости, не три, а четыре. Хороший был кассир в «Первом Национальном», согласишься! Однажды за завтраком (а он у меня теперь до ужаса однообразен: немного овсяной каши и ломтик подогретого хлеба к кофе, живу на «прибыли» с моего «Перекасти-поля», которое, говоря откровенно, медленно, но верно катится в пропасть) я так рассмеялся, что Этол в ярости чуть не разбила тарелку о мою голову, и разбила бы, не вступишь за меня дочка — главный защитник, друг и борец за мои права. Я хохотал, сгибаясь пополам, не в силах остановиться, а когда Этол потребовала объяснить, что может быть смешного в нашей кошмарной жизни, я попытался объяснить ей, что вспомнил, как твой папа и мой несравненный покровитель доктор Джеймс Холл пришел в ту аптеку, где я служил учеником провизора. Он попросил сделать ему повторный анализ на сахар — бедненький, он так опасался проклятого диабета, — а я подлил в мензурку кленового сиропа, и мой шеф понесся с венком, купленным у гробовщика Серхио, в дом твоего папы, чтобы первым возложить его на крышку гроба, потому что с таким сахаром человек должен умереть немедленно.

Этол сказала, что теперь она до конца убедилась, какую ошибку совершила, соединив свою жизнь с моей, и ушла к себе в комнату плакать. А я, рассказав смешную сказку дочке, чтобы как-то отвлечь ее от домашних сцен, когда жена рыдает, кофе выкипел, каша пригорела, долг тестю вырос в три раза, количество подписчиков упало раз в семь, — отправился в то помещение, которое именуется редакцией «Роллинг стоун». По дороге я понял, что дал моему листочку именно такое название, поскольку перекасти-поле более всего мне по душе, свободное и гонимое ветром, отдельное ото всех других, тихое, но не подпускающее к себе никого — сжечь можно, но развести вроде гвоздики на грядках возле дома — никогда.

Знаешь, когда я по-настоящему влюбился в перекасти-поле? Когда твой папа привез меня с собою в Техас на твое ранчо и сказал: «В Гринсборо ты бы помер от

чахотки, как твоя мать, — молодым совсем. Покашляй ты еще полгода и в одно прекрасное утро увидел бы на платке маленькую капельку крови. Это бы и стало началом твоего конца. Здесь, в Техасе, ты будешь жить на ранчо Ли и спать под открытым небом вместе с другими ковбоями, пасти бычков и баранов, объезжать диких коней, охранять мустангов и держать наготове карабин, чтобы участвовать в перестрелках, когда нападут мексиканские «десесперадос», чтобы похитить скот». Я тогда ответил твоему папе, что я сам прекрасно знаю, как я болен, и кровь уже была у меня на носовом платке после приступов кашля, но я не просил его заниматься благотворительностью и лучше бы он дал мне спокойно умереть в Гринсборо, там хоть можно играть на скрипке местным девочкам или услаждать самого себя песнями под гитару о той жизни, которая лишь грезится нам, но никогда не бывает. «Ладно, — сказал тогда твой папа, — побурчи еще мне, дороги назад нет, сиди тут и становись мужчиной! Будешь скулить — отправлю к моему младшему, Ричарду, он тебе сразу ребра пересчитает!» И я, проклиная все и вся, стал ковбоем, потом забыл про кашель и про капельки крови на носовом платке, и как высшее счастье вспоминаю те часы, когда объезжал коней, стриг овец, отстреливался от грабителей, а потом привозил из поселка ящики с книгами и погружался в Шекспира и Гизо, Тениссона и Юма, Бернса и Гёте! А каким откровением стал для меня «Толковый словарь» Вебстера! Между прочим, именно благодаря ему я смог покорить Этол: я совершенно поразил ее умением объяснить каждое слово и явление, окружающее нас. Мне, знаешь, порою очень хочется написать смешную историю про то, как парень добился руки прекрасной женщины, несмотря на то, что видимо был неказист и деньгу не умел зашибать, как его соперники, но зато знал наизусть всего Вебстера. А еще я часто вспоминаю красавицу испанку Тонью... Ту, что жила возле форта, милях в тридцати от нас... Ее убил лейтенант из пограничной стражи, перепутав с «Малышом», который и подстроил все это дело, отправив ему письмо, написанное вроде бы ею самою, что «Малыш» будет уходить через границу, одевшись в ее платье... Между прочим, именно Тонья была моим первым и самым прекрасным учителем испанского языка, а я взамен учил ее французскому... Она так мечтала уехать в Нью-Орлеан и

пожить там во французском квартале, самом красивом квартале этого города!.. Когда ты меня расспрашивал про нее, я говорил пренебрежительные слова, а как же иначе говорит о девушке молодой балбес, который забыл на твоём ранчо про свою чахотку, ел полусырое, еще теплое мясо бычков и пил горячее козье молоко?! Мы все находим прекрасные слова для женщины, которая была первой страстью, лишь по прошествии лет, когда открывается новое состояние — не столько тела человеческого, сколько духа.

Знаешь, у меня в редакции в туалете висит кусок зеркала, и, когда я драю руки керосином пополам с мылом, чтобы отмыть въедливую типографскую краску, мне так грустно видеть свое изображение, Ли! Вместо длинноволосого ковбоя в сомбреро, с мексиканскими шпорами и с сорокапятикалиберным кольцом за кушаком моему взору предстает мосье с бесцветными глазами и блеклой кожей, тщательно прилизанный, — редактор, увы, должен быть образцом благообразия для граждан, как же иначе, он, словно светский проповедник, блюдет нравственность, будь она трижды неладна, эта наша проститутская нравственность, которая стоит в зависимости от колебания цен на наиболее выгодные акции чикагской биржи!

А самое страшное время наступает ночью, когда номер сверстан и разослан подписчикам. Именно тогда я начинаю читать письма редактору. Знаешь, мир разделяется на тех, кто работает, и тех, кто надсматривает за работой, алчно ожидая, когда трудящийся совершит ошибку.

Ты не можешь себе представить, как хищно набрасываются на ошибку ехидные старики и всезнающие молодые ниспровергатели. Сами они ничего не могут написать, но, боже, как они умеют отыскать ссылку на то, что Александр Македонский не говорил фразу «Боги помогут», а произнес ее Август, — будто бы они сами пили виски с императором, занемогшим поносом после чрезмерного пиршества в бане, где пар был слишком сухим и горячим! Сладостно урча, будто койоты, они рвут тело написавшего, только б уличить его в самой крошечной неточности, только б пригвоздить его к позорному столбу незнания!

Мне иногда хочется создать Всемирное Общество Журналистов и Писателей, чтобы договориться с кол-

легами о бойкоте человечеству хотя бы на год! Пусть поживут без Слова! И поставить при этом условие: «Запретите паразитам от знания, которые каждую строку в газете или книге читают предвзято, мучать редакторов своими подметными письмами и обижать репортеров, вживляя в их мозг некие аппаратики заведомого страха перед фантазией! Только после этого мы снова вернемся к нашей работе!» Но нет же, люди так разобщены, так ищут свою выгоду, а этим так умело пользуются те, в чьих руках власть и деньги, что мои благие прожекты так и останутся прожектами, ничего не напишешь, все будет идти так, как угодно Судьбе, подданными которой мы все являемся, дорогой Ли.

А знаешь, зачем я написал такое глупое и унылое письмо?

Только затем, чтобы ты мне по совести ответил: что бы тебе хотелось читать в газете? Еще конкретнее: на какую бы газету ты подписался? Угодны ли тебе в такого рода газете рассказы о жизни таинственного сыщика Тиктока? Стихи? Рассказы в рисунках?

Твоего ответа очень ждет неунывающий редактор
Билл Сидней Портер»

30

«Мой милый!

Я совершенно не нахожу себе места!

Я попросила дядюшку Фрэнка отнести тебе эту записку, потому что у меня нет сил ждать, когда ты вернешься домой.

Прости меня! Умоляю, прости свою взбалмошную жену с отвратительным, несдержанным характером, но ведь я так люблю тебя, Билл! Я готова переносить стобою все лишения, я пойду за тобой на край света, милый! Но что я могу поделать, если я южанка, и никогда не знала, что такое нужда, и воспитывалась, как в теплице?!

Я никогда, никогда, никогда больше не стану вести себя так мерзко, как это случилось сегодня за завтраком!

Приходи скорее!

Любящая тебя

Этол».

«Мое солнце!

Я все понимаю и не сержусь на тебя. Теперь.

Если ты сделаешь яичницу с гренками, мы ее съедем, когда я вернусь, и выпьем хорошего чая с шиповником. В прериях им лечат все.

Целую тебя.

Твой Билл».

«Дорогой Билл!

Я читал твое письмо и все время вспоминал, как ты сочинил смешную историю про оборванного, изможденного старикашку, который медленно брел по дороге, а вокруг него бегали сорванцы и поддразнивали несчастного, такова уж мальчишечья натура! (Это вроде ветрянки, все через нее проходят, остается лишь пара отметин на животе или на ягодице, которую не без интереса разглядывает любимая, ибо, ты прав, подруга вступает во владение мужем, словно банкир, купивший новое дело: исследуется все, любая мелочь, как же иначе — отныне это Свое, Недвижимость, Собственность!)

Я сначала смеялся, когда ты рассказывал, как шалуны бросали в старика песочек и маленькие камушки, смеялся до тех пор, пока главный озорник не приблизился к деду и не предложил ему помочь, и тот со слезами благодарности протянул руку, и озорник взял эту руку, предвкушая предстоящую игривую шалость, а дед схватил мальчика, скрутил его, изуродовал и убил — прекрасный образец школьного воспитания, сказал ты тогда, за шалость — смертью, за слово — пулей, за шутку — кинжалом под ребро.

И еще я думаю про то, что ты вступил в полосу невезения, Билл, и поэтому тебе надо быть особенно осторожным.

Я никогда не забуду, как к нам на ранчо приехал этот миллионер Джим Диксон, состоявшийся на своем бродяжничестве в Колорадо, где он застолбил десяток хороших жил, и написал об этом книгу, и прибыл к нам, чтобы ты — Самый Талантливый Карикатурист в Округе — сделал иллюстрации к его книге, и как ты великолепно рисовал для этого самого Диксона, и как мы все покатывались со смеху, когда ты показывал свои

иллюстрации, а Диксон все мрачнел, и мрачнел, и говорил, что ты Гений из Гениев, потому что никогда не был в Колорадо, но рисуешь так, словно бы ты искал там золото, а не он, и в конце концов, упившись, швырнул в костер свою рукопись, забыв, что ты уже вклеил туда все свои рисунки.

Если бы эта книга вышла — ведь он богатый, этот Диксон, он бы хорошо уплатил и ее б издали на плотняной бумаге, — ты бы уже был знаменитым художником и тебе не надо было сидеть в кассе, а потом редактировать газету для Олухов, считающих себя потомками Дидро и Вольтера...

Но уж коль ты редактируешь эту газету и она единственное, что дает тебе деньги на жизнь (кстати, я могу помочь тебе в средствах, понятно, без процентов, ссужу на год, больше не могу, деньги только тогда деньги, когда они в деле, то есть крутятся), то изволь, я выскажу тебе, что мне было бы интересно в ней читать. Во-первых, прогноз цен на скот. Причем, если ты будешь уверять меня, что баранина подскочит в цене, а на самом деле она упадет поздней осенью, я оседлаю коней, возьму пару верных ковбоев из тех, что учили тебя стрелять ночью по «десперадос» — в тот именно момент, когда те улыбались (они же так белозубы, что единственно по чему их можно было вычислить в темноте, так по этому), приеду в Остин ночью, а на рассвете ты будешь искать на пепелище твоей редакции остатки типографских станков и то самое зеркальце, в котором грустно рассматриваешь себя после работы, во время мытья рук.

Во-вторых, мне интересно читать про то, кто с кем спит из знаменитостей, особенно из мира искусств. Это дает возможность мужьям отвоевывать хоть какую-то толику свободы у своих любимых, легко осваивающих профессию тюремщика, словно бы они все проходили курс молодого надсмотрщика в утробе мамочек. Как ведь хорошо, листая вечером газету, заметить любимой: «Крошка, послушай-ка, великий актер Пьер Шибо только тогда добивался успеха на сцене, когда начинал роман с молоденькой хористкой, на который его жена смотрела сквозь пальцы, ибо «так нужно гению». Конечно же, любимая скажет, что ты не Пьер Шибо, и не великий актер, и работаешь не на сцене, а в хлеву, но ты благодаря свободной прессе имеешь возможность заметить ей, что успех Пьера Шибо исчислялся не только

количеством вызовов, но и более высокими гонорами за изображаемое. О, когда речь идет о том, что любимый принесет в клюве лишнюю тысячу зелененьких, благородная матрона задумается, прежде чем отрезать «нет». Она будет долго и тяжело думать, что помешает ей проявить обычную бдительность тюремного стража, а ты не мужчина, если не сможешь воспользоваться этим и в дальнейшем закрепить успех! Поскольку свобода отвоевывается по дюймам, наивно полагать, что ее можно получить всю сразу, целиком, купно.

В-третьих, меня, как обывателя, не может не интересовать страница уголовной хроники, в которой рассказывают о грабежах, насилиях (с подробностями), кошмарных убийствах на почве ревности и налетах на банки (как и все, я завидую банкирам и радуюсь, когда их грабят).

Чего я не читаю в газете? Во-первых, грустные истории про всякого рода происшествия, связанные с тем, как обижают бедных. До тех пор, пока человек имеет руки, ноги и зубы, он обязан драться за самого себя, а не передоверять это дело газетчикам, даже столь добрым и отзывчивым, а потому безрассудно-смелым, каким является Билл Портер.

Во-вторых, мне скучно читать про то, что происходит за океаном, в древней Европе, потому что я — при всем моем желании — никак не могу повлиять на тамошнюю ситуацию, поскольку овцы у них свои, хлеб свой и коней хватает.

В-третьих, меня раздражают менторские нотации, которые распространены в центральных газетах, где за меня думают, за меня решают все государственные дела, а мне лишь предписывают, как поступать, о чем думать и что предпринимать для всеобщего развития. Извините, но у меня своя голова на плечах, разрешите мне самому думать, ибо чем ответственнее я буду думать о своем месте в жизни, тем будет лучше Штатам.

Вот, дорогой Билл, я и ответил на твой вопрос. Пожалуйста, не сердись, если что не так.

Кстати, «Малыш», который убил Тонью, снова вернулся в наши края, взял себе в любовницы сестру Тоньи, похожую на нее как две капли воды, угнал в Мексику два стада Дикого Рафаэля и ограбил салун «Хромого Носорога». Мы решили поохотиться на него. На этот раз он не уйдет. Если у тебя есть желание, приезжай ко мне (твой винчестер висит над моей кроватью),

надевай свои джинсы, сомбреро и мексиканские шпоры и мотай вместе с нами! Потом напишешь об этом для своего «Перекасти-поля». Мое предложение вполне серьезно.

Посылаю тебе восемь долларов двенадцать центов с просьбой считать меня подписчиком твоей газеты. В течение этой недели я намереваюсь переговорить с моими друзьями в форте. Думаю, ты приобретешь еще семь-восемь новых читателей. Напиши для них что-нибудь кошмарное, это будут листать, и ты заткнешь за пояс «Нью-Йорк таймс».

Твой
Ли Холл».

33

«Дорогой Майкл!

Я знаю, как тяжело ты болен, но не могу не сообщить тебе новость, которая невероятно тяготит меня.

Тот ревизор, что однажды был у вас в «Первом Национальном», написал пространную жалобу. Он обвинил меня в том, что я попустительствую Акулам Капитала (то есть всем вам), которые держали в кассе преступника, выдававшего деньги направо и налево, по своей прихоти. Этого кассира, по словам ревизора, «откупили от тюрьмы» состоятельные граждане Остина, потому что он является зятем мистера Роча, одного из самых богатых людей в округе. Хотя я знаю, что Портер обыкновенный разгильдяй, а не жулик и живет на свои скромные заработки, получаемые от писания статей в его подлую газетенку, поделывать ничего нельзя: из Вашингтона пришло указание поднять из архива закрытое мною дело и передать его в Суд.

Мне же пока объявлен выговор за «непонятный либерализм к нарушителю федерального закона».

Единственно, на что можно надеяться, так это на то, что среди присяжных, среди этих двенадцати олухов, найдется семь-восемь человек, с которыми можно будет заранее откровенно поговорить, попросив их вникнуть в дело самым пристальным, но в то же время доброжелательным образом.

Должен заметить, что ревизор (это мне поведали друзья в Вашингтоне) постоянно делает упор на то, что

Билл Портер стал растратчиком, чуть не пустив с молотка весь твой Банк, поскольку в нем прорезался репортерский зуд и он купил лицензию на издание «Роллинг стоун», которая находится на грани банкротства.

Прости, дорогой Майкл, за то, что я вынужден сообщить тебе столь неприятные новости.

Если состояние здоровья не позволит тебе приехать ко мне, чтобы самому заранее ознакомиться с обвинительным заключением, которое я вынужден писать, то пришли своего самого доверенного человека, которому я смогу показать все документы. Пусть твой Банк будет загодя готов к защите, ибо я теперь думаю, что удар против Портера на самом деле есть чей-то удар против тебя.

Остаюсь твоим вечно благодарным другом, хоть и прокурором

Дэйвом Кальберсоном».

34

«Многоуважаемый мистер Джонстон!

Поскольку Вы являетесь главным редактором могущественной «Хьюстон пост», которую читают и в Техасе и особенно те, с кем я начинал осваивать Дикий Запад, я посчитал возможным обратиться с этим письмом, полагая, что с Вами уже поговорили о том, за кого я хлопочу.

Билл Сидней Портер — один из самых прекрасных людей, с которыми меня сводила жизнь.

Судьба его драматична и неординарна: приговоренный к смерти от чахотки, ушедший в себя, озлобленный и недоверчивый, он был поначалу отринут мной, как симулянт и гнусный обманщик, тем более что доктор, которому я поручил его обследовать, сказал, что парень здоров как бык. (Потом выяснилось, что спьяну доктор обследовал не Портера, а мальчишку-мексиканца.) Я прогнал Портера из дома в прерию. Там он спал под открытым небом. Началось кровотечение, и Джон Сандайк, ковбой, которого мы все звали «Сучья лапа», чудом его выходил, втирая в спину барсучье сало и заставляя пить молоко кобылиц пополам с медом. Более того, он поселил его на конюшне, чтобы парень дышал тем воздухом, который «Сучья лапа» считал целебным, и утверждал, что, если бы он имел хотя два класса

общеобразовательной школы, он бы открыл лечебницу для чахоточных в конюшнях. (Еще он предложил мне взять патент на «Ящик долголетия», где должны стоять два улья и конь, отделенные друг от друга сеткой, а в третьем отсеке нужно держать больного: «Полгода — и я гарантирую, что семидесятилетний дед после пребывания в моем «ящике здоровья» справится с семнадцатилетней девушкой, причем сделает это лучше тридцатилетнего Дон Хуана».)

Так вот, Билл Портер выздоровел и стал прекрасным ковбоем (он сирота, мать ушла из жизни, когда он был маленьким, отец — безумный изобретатель и алкоголик), стрелком, почтмейстером, поваром, уборщиком, стригалем овец, певцом, дояром, учителем, бойцом в нашей группе, охранявшей границу от набегов бандитов, и уложил немало дьяволов в честной драке, один на один, а то и против двух или трех. (Стрелял он лучше, чем сейчас пишут в дешевых романах о ковбоях, — бил на лету черешню с первой пули, почти не целясь.)

Затем он похитил самую красивую девушку Остина, падчерицу мистера Роча, начал собственную жизнь, не унижая себя положением прихлебателя в богатом доме, стал работать кассиром Банка, а потом, скопив денег и получив ссуду в двести пятьдесят долларов, принялся выпускать свою газету «Роллинг стоун».

Я посылаю Вам, сэр, пять номеров этого «Перекасти-поля», издаваемого самым настоящим перекасти-полем: все — от первой до последней строки — написано им, им же все и нарисовано.

Прошу Вас прочитать сочинения Билла Портера, которые он писал по ночам, после того как возвращался из своей вонючей, душной кассы на чердак, в комнату, где и овцу-то с трудом уместить, не то что человека. Там он и поныне сочиняет все, что я отсылаю Вам.

Сейчас его газета обанкротилась: он был слишком задирист, этого не прощают тем, у кого нет хорошего счета в Банке и громкого имени у публики. Из Банка Портеру пришлось уйти, поскольку в кассе была обнаружена недостача. Я не смею скрывать этот факт потому, что абсолютно уверен в полнейшей невинности Портера. Он может застрелить, если оскорбят его близких друзей; он может перегнуть через границу стадо мустангов, если его попросит об этом человек, которо-

му он верит, или если приятель оказался в беде и ему надо помочь, но он не способен на мелкую, трусливую подлость, на кражу в том Банке, куда его пригласили работать те люди, которых он глубоко, по-сыновьи уважал.

Сейчас против него снова начали копать тихие ревизорские мыши из Вашингтона.

Благородная задача сильных и добрых людей, истинно думающих о судьбах Штатов, заключается в том, думается мне, чтобы делать все для выявления и поддержки талантов. Лишь талант является тем, что может объединить наши Штаты, сделав их умнее, богаче, достойней. Только безответственные идиоты могут не замечать неординарное, а то и попросту пинать его ногами.

Именно поэтому, сэр, я прошу Вас прочитать малую часть написанного Портером и высказать свое отношение к дару (может, я ошибаюсь и никакого дара нет?) этого человека.

В случае, если Вам понравятся работы, пожалуйста, не говорите ему, что это я послал Вам подборку газет, — он болезненно честолюбив, видимо, как и все творческие люди.

Остаюсь к Вашим услугам,

Ли Холл, землевладелец и скотовод».

35

«Уважаемый мистер Портер!

Мне удалось ознакомиться с несколькими номерами газеты «Роллинг стоун».

Прежде чем я выскажу ряд суждений, хотел бы задать Вам два вопроса:

1. Действительно ли Вы один являлись автором всех материалов газеты, ее фельетонов, юморесок и корреспонденций, а также карикатур, опубликованных на ее страницах?

2. Соответствует ли действительности то, что Вы привлечены к уголовной ответственности по обвинению в растрате, будучи кассиром и счетоводом «Первого Национального банка» в Остине?

В ожидании Вашего ответа,

Фрэд. С. Джонстон.

Издатель и редактор «Хьюстон пост».

«Уважаемый мистер Джонстон!

1. Да, действительно, это я писал все те материалы, о которых Вы запрашивали меня в своем письме.

2. Я ни при каких обстоятельствах не был и не буду растратчиком или же вообще человеком, когда-либо преступившим или собирающимся преступить черту закона.

Билл Сидней Портер».

«Дорогой мистер Кинг!

Сердечно благодарен за все то, что было сделано! Думаю, в самом ближайшем будущем, после того, как будет вынесен обвинительный вердикт «Первому Национальному», после того, как процесс вскрыет полнейшую некомпетентность его руководителей и покажет гражданам всю ту анархию, которая отличает стиль «работы» отцов предприятия, можно не сомневаться, что большинство вкладчиков перейдут к нам, что, собственно, и требовалось доказать.

Соблаговолите сообщить номер счета, куда следует прислать Ваши деньги по учету процентов с акций «Силвер филдз».

Искренне Ваш

Филипп Тимоти-Аустин, банкир и экономист».

«Уважаемый мистер Портер!

Ваш ответ вполне удовлетворил меня.

Ваша газета «Роллинг стоун», переставшая, к сожалению, выходить ввиду банкротства, представляется мне вполне профессиональной, правда, чересчур для столь маленького издания резкой и недипломатичной.

Что касается юморесок и странички «Планквильского патриота», что вел «полковник Аристотель Джордан», то это просто-напросто хорошо сделано.

Все это позволяет мне с чистым сердцем предложить Вам возглавить отдел юмора нашей «Хьюстон пост».

Что касается второго вопроса в моем прошлом письме, то, как я понял, Вы не считаете для себя возможным говорить об этом. Что ж, Ваше право. Я лишь намерен был предложить свои услуги в качестве человека, который заинтересован в том, чтобы талантливый журналист писал на свободе, а не в тюремной камере.

Мои условия: Вы переезжаете в Хьюстон. Я плачу Вам пятнадцать долларов в неделю. Если будете работать «с набором», на подъеме, я прибавлю Вам еще десять долларов; однако об этом можно будет говорить по прошествии месяца-двух.

В случае, если согласитесь с моим предложением, писать не надо — приезжайте.

Примите и пр.

Фрэд. С. Джонстон, издатель и редактор «Хьюстон пост».

39

«Уважаемый прокурор Кальберсон!

Это мое письмо не носит характер делового. Скорее оно продиктовано добрым отношением к провинциальному коллеге, и Ваше право не отвечать на него.

Как нам здесь, в министерстве юстиции, стало известно, Билл Сидней Портер, обвиненный в хищениях и халатности по делу «Первого Национального банка» Остина, покинул город, где ведется следствие, не поставив в известность об этом ни Ваш аппарат, ни секретарей Большого Жюри.

Не думаете ли Вы, что Портер намерен уйти от следствия и судебного разбирательства, и, таким образом, «похоронить» дело об анархии в Банке? (Как мне стало известно, Ревизионный отдел намерен инкриминировать ему растрату более чем пяти тысяч долларов, а это такое хищение, которое предполагает тюремное заключение сроком до десяти лет.)

Я не смею приказывать Вам или настаивать на чем-либо. Просто как Ваш коллега я счел своим долгом поделиться соображениями, которые возникли у меня, как у человека, курирующего вопросы правопорядка в Техасе.

У меня на памяти два случая, когда бухгалтер (в первом эпизоде) и (во втором) вице-директор, обвинен-

ные в растрате, скрылись из-под следствия на три года. Мы были вынуждены прекратить дело против Банка за отсутствием обвиняемых. Главный порок Банка — разгильдяйство, халатность, недостаточно строгое ведение дел, выдача ссуд без достаточных на то оснований — остался ненаказанным, а по прошествии трех лет и вице-директор (во втором эпизоде), и бухгалтер (в первом) вернулись в свой город и поселились в роскошных домах. Мы же были лишены возможности привлечь их к ответственности, ибо закон стоит на их стороне: «По прошествии трех лет виновные в растрате суммы, не превышающей десяти тысяч долларов, к уголовной ответственности не привлекаются и дела, возбужденные против них, прекращаются автоматически».

Несмотря на то, что вся пресса поднялась против двух этих расхитителей, несмотря на то, что, казалось, правда была на стороне возмущенных граждан, победила сухая буква закона.

Еще раз прошу Вас считать это письмо отнюдь не деловым.

Я полагаюсь на Ваши решения целиком и полностью — особенно после того, как Вы подписали постановление на возбуждение уголовного дела против Портера.

С искренним приветом

Даниэл Хьюдж,
советник департамента по надзору».

40

«Мой дорогой Кинг!

Советник департамента по надзору Даниэл Хьюдж по-настоящему одаренный человек, о чем свидетельствует копия его письма прокурору Кальберсону по поводу «Первого Национального».

Он, конечно, сам не просил меня показать тебе его военную хитрость, но в глазах этого юридического змея я прочитал такую мольбу сделать это, особенно накануне предстоящих пертурбаций в его ведомстве, что посчитал целесообразным просить тебя просмотреть этот документ.

Поскольку ты вполне мог забыть существо дела, напомню, что речь идет о попытке Филиппа Тимоти-Аустина задавить «Первый Национальный» и сделаться монопольным банковским боссом в южном и северо-восточном регионах Техаса.

Поскольку его «Силвер филдз» приносит нам семь к одному, то, я полагаю, имеет смысл поддержать и Тимоти и ту его команду, которая надежно страхует законный успех его предприятий. Бесспорно, Даниэл Хьюдж может считаться украшением этой команды.

Его стратегический план заключается в том, чтобы подбросить людям из «Первого Национального» — через Кальберсона, который многим обязан одному из банковских президентов, — идею, смысл которой заключается в том, чтобы Портер (это кассир, мелкая сошка, он объект игры, через него можно бить самую структуру Банка) скрылся на три года, тогда, мол, дело само по себе заглохнет, имя Банка не будут трепать.

(Тимоти загодя скупил ряд газет в Техасе, поставив во главе изданий надежных людей, внешне с ним никоим образом не связанных. Довольно сложной была его борьба против бойкой газетки «Роллинг стоун», но он смог и ее подвести к банкротству, сделавшись, таким образом, единственным человеком, контролирующим общественное мнение Остина.)

В случае, если конечная задумка Тимоти-Аустина, аккуратно переданная им Хьюджу и столь умело разыгранная юридическим змеем, даст плоды, в случае, если «Первый Национальный» клюнет на это, техасская пресса начнет кампанию, которая заставит прежних хозяев города потесниться, сдать захваченные позиции, а потом и вовсе уйти из штата. Время романтики поры освоения Дикого Запада кончилось, честь и хвала тем, кто его завоевал, но настали новые времена, машинная техника и все такое прочее, следовательно, пришла пора смены караула. В большом, общегосударственном деле всегда надо уметь жертвовать малым, как это, впрочем, ни прискорбно для всех нас.

Прими мою дружбу, дорогой Кинг,

твой Камингс.

«Дорогой Ли!

Хочу поделиться с тобою новостью: я житель Хьюстона! Но и это не все: ты имеешь теперь дело с шефом отдела юмора газеты «Хьюстон пост»!

Главный редактор где-то нашел подборку моих «Роллинг стоун», прочитал и пригласил перебираться к нему. После первых десяти дней работы он отдал в мое бесконтрольное ведение рубрику «Городские истории», предупредив заранее (будто знает меня много лет, особенно мою тягу задирать только тех, кто сильнее меня), что в Хьюстоне есть двенадцать семей, к которым примыкает еще семь фамилий, их травить нельзя ни в коем случае, а уж если припрет, то лишь после консультации с ним и с теми его друзьями, которые понимают толк в политической борьбе, то есть в Оптовой Торговле Протухшими Овощами.

Я теперь начал спать без кошмарных сновидений. Тот ужас, что случился в Остине, как-то стирается в памяти. Люди быстро забывают плохое, нам свойственна вера в лучшее, этим и живо человечество, хотя историки делают все, чтобы мы, обитатели планеты Земля, лучше всего знали именно про войны, моры, страшные годы тирании. Им, мне кажется, мало платят, если они пишут о прекрасной поре Возрождения, или о нашей революции, борьбе за независимость, или о французских просветителях. Со свойственной старым бабкам тягой к сплетням они умудряются выискивать самые черные пятна даже в солнечных пиках истории, они идут в своих посылах не от того, что именно в недрах Святой Инквизиции, которая на словах радела об устоях веры христовой, а на деле сражалась против всего нового, чистого, зародилась философия свободы. Лишь только начав писать о европейском Ренессансе, самое большое внимание историки обращают на то, как слепые владыки и догматики-попы готовят свое кровавое пиршество, когда к столу подают рагу из Разума, Мозги под майонезом, Вырезку из Честности и Компот из свежей Крови. (Хотя, допускаю я, историки, сосредоточивая наше внимание на ужасе истории, пытаются предостеречь человечество от повторения кошмаров, но разве такое возможно? Может быть, лучше побольше и покрасочнее рассказывать о том, как прекрасны были дни

мира в Элладе и сколь поразителен талант Сервантеса?)

Борение Инквизиции и Возрождения — вечная тема, присущая, кстати говоря, и нашему времени, каждому городу, какое там, каждому дому. Мы в редакции получили более ста писем от возмущенных жителей Хьюстона, которые требуют применить санкции против «потерявших стыд и совесть девок, позволивших себе сменить юбки на шаровары и взгромоздившихся на так называемый велосипед».

Меня пучит от ярости, когда я читаю письма этих благонамеренных идиотов, более всего радеющих о традициях и внешнем приличии, понимая, что, напечатай я резкий фельетон против них, гневу их не будет предела, упадет подписка и мой благодетель вышвырнет меня на улицу.

Я теперь довольно часто захожу в салуны, кафе и бары, где здешние жители перехватывают «горячую собачку» в короткое время ленча, выпивают стакан молока и непременно пролистывают нашу газету. Я захожу туда не без умысла, мне очень важно послушать, что говорят про те материалы, которые я пишу, улыбаются ли им, спорят о них, или же, промахнув те страницы, где перепечатаны данные биржи, остальные бросают под стол после того, как уплатят бармену пятнадцать центов за еду и питье.

Должен тебе сказать, что это очень интересное занятие. Чего я не наслышался о своей работе за эти недели! Один сказал: «сентиментальные побасенки стала печатать наша газета», другой заметил, что «эти мелодрамы мне не по сердцу, никакой правдивости», третий, обливши клетчатый жилет теплым молоком, произнес целую тираду про то, что «время дешевых анекдотов времен покорения Америки ушло в прошлое, жаль, что газета так низко пала», четвертый похвалил то из написанного мною, что мне самому совершенно не нравится, и я лишний раз убедился, что газетчик не имеет права судить свою работу, как, видимо, и художник, и писатель, и музыкант, — лишь зрители, читатели и слушатели вправе выносить окончательное решение, которое не подлежит обжалованию критики.

Наша редакция довольно шумная, в большой комнате стоит двенадцать столов, на каждом телефон, а у репортеров скандальной хроники три аппарата, которые

беспрерывно трезвонят. Шум, гомон, стрекот пишущих машинок — все это радует мое сердце, хоть утомляет голову, и я уйду работать в маленькую комнатку обозревателя, занимающегося вопросами науки, школы и медицины. Печатается он мало, а думает и читает (что, конечно же, одно и то же) довольно много. Он как-то сказал мне, что Шекспир не что иное, как современный нам толкователь Плутарха, только в отличие от историка он брал частное и исследовал эту малость в ее вечном смысле, в философской сущности, в пересечении незримых нитей закономерного и случайного. Я тугодум, как тебе известно, и не умею сразу понять то, что мне говорят, все надо переварить наедине с самим собою; так случилось и на этот раз. Действительно, подумал я, каждое явление, любой человек, особенно если он есть персонаж истории и память о нем не затерялась в пыли столетий, может быть оценен совершенно по-разному. Плутарх по-своему объяснял, отчего Кориолан изменил Риму, тщательно изучал обстоятельства, предшествовавшие его поступку, и причины, к нему приведшие, а Шекспир просто-напросто сострадал личности Кориолана, разыгрывал свое действие, вдыхал свою плоть в его тлен. Видимо, высший смысл литературы в том и заключен, чтобы увидеть правду образа, поверить в нее и восстановить свою правду. А уж насколько твоя правда угодна людям, скажут они сами: если будут тебя читать, искать твои книги, передавать их из рук в руки, значит, ты почувствовал правду, а если нет — значит, мимо, значит, не понял, не дотянулся. Вообще, писать об исторических персонажах крайне сложно. Согласись, сейчас можно подобрать исчерпывающе полное описание событий французской революции или нашей гражданской войны. Однако что такое событие? Это есть расположение войск накануне сражения, точные данные о том, где и какие полки Гранта стояли в ночь перед битвой, однако же кто может рассказать, что ел накануне этой столь важной для нашей истории битвы генерал Ли? Что пил? О чем говорил с друзьями? Какие-то обрывки правды могут дойти до нас, но они будут, понятное дело, тенденциозными: те, которых генерал любил и отмечал, станут говорить о нем с любовью, те, которым доставалось, выльют на него ушат грязи. Пойди-ка, отыщи золотую середину! И — главное: о чем он думал? Кто сможет сказать об этом? Да и потом, разве мысль бывает когда-нибудь однолинейной? А мысль талантлив-

вого человека — это вообще смесь образов, слов, видений. Необходимо прозрение, какое-то таинственное чувство исторической (то есть людской) правды, — только тогда можно написать то, что будет помогать нашим детям жить на этой суровой земле.

Ту свою «грустную исповедь о марионетках» я, следуя твоему совету, не напечатал в «Роллинг стоун», но думаю попробовать ее обкатать здесь, в Хьюстоне, интересно будет посмотреть, как прореагируют здешние обыватели.

Дорогой Ли, я был бы счастлив получить от тебя письмо.

Любящий тебя
Билл С. Портер».

42

«Дорогая мамочка!

Мы устроились вполне сносно: комната, где мы спим, довольно большая, так что Маргарет имеет свой уголок, выгороженный ширмой. Билл работает по ночам, поэтому мы не мешаем ему. Ему прибавили заработок, и мы теперь имеем сто долларов в месяц, совсем как в Остине.

Билл купил себе в лавке подержанных вещей: английский клетчатый костюм и желтые лайковые перчатки, потому что здесь очень следят за тем, как одеваются служащие.

Я приискиваю заказы на рукоделие, думаю, мои занавеси вполне можно будет выгодно продавать, это даст нам еще не менее тридцати долларов в месяц, но я пока не говорю об этом Биллу, чтобы не ранить его самолюбие, ибо работающая жена при муже, который не прикован к постели, конечно, позорно, и я вполне его понимаю.

Напиши мне, как развиваются дела у следователя? Есть ли надежда, что процесса не будет?

Очень тебя прошу, держи эту мою просьбу в секрете ото всех. Ты же достаточно хорошо знаешь Билла, он может перенести все, что угодно, но только не сострадательную зависимость. Порою я поражаюсь ему: другой бы на его месте заплакал, заболел, впал в протрацию,

запил, наконец, но он абсолютно ровен, и мне делается страшно: не сокрыто ли в нем страшное равнодушие? Не бездушный ли он, холодный эгоист?! Нет, нет, я люблю его! Он прекрасный отец, я таких других не видела, просто, видимо, в нем нет того, что присуще нам, женщинам, нет воображения, которое не дает спать ночами, нет предчувствий, которые изматывают душу и делают сердце кровоточащим комочком. Я верю, Билл станет прекрасным юмористическим журналистом, еще больше я верю в то, что он сделается одним из лучших карикатуристов Техаса, но, когда он начинает рассказывать мне безысходные, грустные истории про ковбоев, которые кончаются смертью лучших или еще какой трагедией, мне делается горько жить на свете. Я осторожно сказала ему об этом; он пожал плечами: «Ты хочешь толкнуть меня на стезю лжи?» Что мне ему было ответить?

Дорогая мамочка, было бы замечательно, пришли ты мне набор новых спиц, выпущенный сейчас в Нью-Йорке, они так же хороши, как заграничные, а ведь все, что делают в Европе, несравнимо надежнее и красивей наших товаров! Стоимость этого набора одиннадцать долларов сорок три цента. Если я найду хорошую клиентуру, эти спицы (в каталоге их номер или 88-2, или, наоборот, 2-88) помогут мне в приработке. Только, пожалуйста, ни в коем случае не говори про это Биллу, ты же знаешь его щепетильность и болезненную гордость.

И еще, дорогая мамочка! Когда Билл опубликует свои юморески и получит за них двадцать-тридцать долларов, я тебе сразу же верну деньги, но сейчас ты бы очень выручила меня, ссудив пятнадцатью долларами, чтобы я смогла устроить ужин для коллег Билла по редакции, это для него крайне важно. Он говорит им, что ходит на ленч домой, и отказывается посещать вместе с ними бар, но домой-то он не приходит, а сидит в дешевом кафе, попивая сырую воду. Я узнала об этом совершенно случайно от стенографистки редакции мисс Пичес.

Дорогая мамочка, я пытаюсь следовать твоему совету и ставлю себе оценку за то, как себя вела каждый день. Когда мне делается совсем плохо и я чувствую, что могу не совладать с собою и снова наговорю Биллу грубостей или обидных колкостей, я, как и обещала, читаю Евангелие. Иногда мне это помогает, но, если

начинаются приступы кашля, я совладать с собою не могу, особенно из-за изматывающей сердце неизвестности.

Целую тебя, дорогая мамочка,
твоя Этол Портер».

43

«Дорогой мистер Камингс!

Конечно, «Первому Национальному» так и эдак пятток каторги обеспечен, это мне точно сказали, следовательно, ушат с дерьмом им будет надет на голову по самые уши, за воротник потечет.

Но если предлагается вообще суда над Портером не делать, а чтоб обвиняемый кассир сбежал, то и это можно попробовать.

Я проработал тут кое-чего, и выходит, что в поезде, который ходит из Хьюстона в Остин — а судить голубя будут там, — вполне можно организовать ему встречу с человеком, которому тот верит. Я полистал записную книжку памяти, нашел имя Конрада А. Смита, который сейчас на мели, но хочет купить себе отель, а голубь его помнит со своих юношеских лет и уважает. Он готов повлиять на голубка, но ломает за это изрядную сумму, пятьсот баков. Так что смотрите, на ваше благоусмотрение, а про случившееся он знает от Ли Холла, который в дружестве с подследственным и очень к нему сердечен.

В случае успеха предприятия я возьму за услуги пятьдесят долларов с вас и сто со старого ковбоя, дайте только знать и пришлите задаток в двадцать пять баков.

Ваш Кеннет,
президент фирмы «Посреднические услуги».

44

«Дорогой Майкл!

Как мне ни горько тебе сообщать это известие, но пусть оно лучше придет к тебе от меня, чем от кого другого.

Следствие закончено, Портеру инкриминируется растрата в пять тысяч долларов, и через три дня он будет — увы, по моему указанию — арестован.

Для тебя я готов сделать то, что мне в общем-то делать нелегко: я выпущу его до суда под залог.

Прости меня.

Твой Кальберсон, прокурор.

Р. С. Пожалуйста, сожги это письмо, потому что я не имею права говорить об этом никому».

45

«Дорогой мистер Портер!

Поскольку я безграмотный, это письмо под мою диктовку пишет внучка Кэролайн, ей двенадцать лет.

Наверное, вы меня не помните, я служил объездчиком коней на ферме мистера Ричарда Д. Холла, где вы были в то же время ковбоем, гитаристом, переводчиком на испанский, а также поваром. Потом вы снова уехали к брату мистера Ричарда Д. Холла, мистеру Ли Л. Холлу, а все постоянно про вас вспоминали: и как вы разыгрывали спектакли, в которых надо всеми шутили, но не обидно, а по-дружески, и как ухаживали за испанской Тонью.

Когда я вложил свои деньги в акции «Фрут компании», которые были выпущены проходимцами (о, я, конечно, об этом не знал), и стал поэтому нищим, мне надо было срочно выплатить за аренду земли, на которой я поставил маленький салун (а то «Скотопромышленный банк» сразу же погнал бы взащей, они не церемонятся, совсем молодые люди, пришли сюда, на Дальний Запад, на все готовенькое, после того, как мы его для них обжили, а я бы стал совершенно нищим, а ведь у меня семья и две внучки, а их отца убили во время перестрелки на границе, и я их содержу один, больше некому).

Теперь вы, наверное, меня вспомнили, я же вам все об этом рассказал, когда вы служили в «Первом Национальном», и попросил у вас ссуду в сорок девять долларов шестьдесят два цента под обязательство вернуть через сорок дней, и вы пошли на то, чтобы спасти меня от нищеты. А теперь меня вызвали к прокурору, и там молодой человек в очках, назвавший себя мистером Трамсом, спросил, сколько вы взяли себе из тех сорока девяти долларов шестидесяти двух центов. Я даже не понял сначала, о чем он говорил, а потом только дошло

до меня, что вы, давая ссуды горемыкам вроде меня или же друзьям директора Банка без достаточно оформленной финансовой поручительской документации, получали со всех мзду, которую клали себе в карман.

Я, конечно, послал этого подлого мистера Трамса куда подальше, а он стал мне грозить, что, мол, привлечет меня в качестве соучастника хищений, на что я пообещал ему дырку в голове, я всегда работал с оружием сорок пятого калибра, сердце не выдерживало вида страданий раненых, а сорок пятый гарантирует моментальный переход в лучший мир, никаких мучений.

Он на это сказал мне, что засадит меня в тюрьму, а я предложил ему попробовать это сделать.

С этим я ушел от него, но решил сразу же написать вам письмо.

Можете рассчитывать на меня, как на себя. С помощью вашей ссуды в сорок девять долларов шестьдесят два цента я откупился от «Скотопромышленного банка», потом рискнул вложить деньги, оставшиеся от выплаты, в приобретение новых пластинок для граммофона и стал продавать билеты в мой салун на музыкальные концерты. Это принесло кое-какой барыш. Тогда я — коли пошла удача, пользуйся ею — выписал из Лос-Анджелеса больного деда моего друга, где он потерял врачебную практику и нищенствовал. А тут я нарисовал большой плакат с его именем и оповестил всех, что самый великий врач Западного побережья дает консультации за два доллара. Ну, и повалил народ. Так что я сейчас при деньгах и строю большой крытый навес, чтобы гостям можно было держать коней в тепле, когда идут ливни.

Жду указаний, как мне поступить.
Глубоко вам благодарный и уважающий вас
Конрад Арчибальд Смит».

«Дорогой Ли!

Если ты представишь себе пустоглазого дурня в светлом, английского кроя, костюме, клетчатом, как тюремная решетка, в целлулоидном воротничке, который вытягивает шею, делая ее похожей на цыплячью, за

длинным столом, заваленным гранками, вырезками из газет, телеграммами и письмами читателей, то это буду я.

Ты не можешь себе представить, сколь много горестного я узнал за то короткое время, что провел в Хьюстоне.

Мне теперь приходится вести и светскую хронику, это очень важная рубрика в газете, ее читают, ты снова прав, несмотря даже на то, что у нас тут нет ни одного артиста или художника. По роду новой службы мне пришлось посещать рауты отцов города... Видел бы ты, с каким нескрываемым презрением разглядывали мой старый костюм здешние дамы, обсыпанные сапфирами, изумрудами и брильянтами, как перхотью! Человек ценится по одежде, вывел я для себя и сделал вывод: одеваюсь, как денди, даже завел себе лайковые перчатки и брошь для галстука с фальшивым алмазом. С тоской и болью я вспоминаю прошедшую молодость, когда цену человека определяла не одежда, а его сущность, то есть умение выручить из беды друга, объездить норовистого коня, отстреляться от бандитов, сколотить дом в том месте, куда не ступала еще нога человека, развести в этом доме очаг и радостно встречать там тех, кто пойдет еще дальше...

На Дальний Запад пришли совсем другие люди. Ли, ты даже не представляешь, как они не похожи на нас и на тех, кто был до нас! Молодые, с холодными глазами, без всяких сантиментов, они, наверное, делают нужное дело, организовывая нашу вольницу в штат, подчиненный законам страны, но неужели прогрессу угодны не люди, а некие инструменты государственной машины, лишённые всего человеческого, романтического, доброго, самобытного?!

Знаешь, я споткнулся на одном интересном размышлении: ведь сказки про козлят, мышат, про добрых принцев и нежных волшебниц сочиняют мужчины: женщины лишь пересказывают их детям. Нельзя ли сделать из этого вывод, что мужчинам (я имею в виду истинных представителей этого пола) более, чем женщинам, свойственно желание принести всем (а не одной лишь своей семье) благодать, увидеть справедливость при жизни, а не в загробном царстве?

Я не зря взял в скобки свое замечание про истинных представителей нашей с тобою половины рода че-

ловческого, ибо сейчас к власти пришли злейшие враги сказочников. На раутах мне нечего делать, кроме как наблюдать; пить, как тебе известно, я боюсь, поскольку алкоголь мешает мечте, то есть сочинительству; еды на этих раутах почти не подают, несколько кусочков ветчины и сыра, на них нацелено столько алчных взоров (чем человек богаче, тем больше он норовит ухватить на такого рода бесплатном рауте), что я просто-напросто считаю ниже своего достоинства толкаться, пролезая к блюду, ухватывать кусок и убежать в угол, чтобы там сладко почавкать, набивая брюхо.

Результаты моих наблюдений оформились в некую схему. Как всегда, самый главный человек города исполнен добродушия, он открыт, демократичен, весел, не чурается грубоватой народной шутки, больше всего любит пораспространяться о своем рабочем прошлом, о бедности, пережитой им в детские годы, и о том, как прошел последний бейсбольный матч между командами «Викингов» и «Поросят».

Рядом с ним на рауте обычно стоят «холодноглазые». Это те, которые окружают босса в офисе: напрямую, как известно, к нему не попасть, надо сначала обговорить тему визита, доказать необходимость встречи, ее целесообразность для паблисити туза и все такое прочее, только после этого его ассистенты соберутся на свой дьявольский шабаш и примут решение, которому их шеф обязательно подчинится.

Нельзя отрицать того, что «холодноглазые» знают толк в работе, читают законы и по-научному относятся к рекламе, призванной сделать их босса еще более известным, а оттого влияющим на политику, то есть на бизнес.

Но вот о чем я все больше думаю, дорогой Ли, после этих раутов, где рассматриваю главного босса и свору «холодноглазых»... Мы можем перестать быть той землей, которую создавали наши отцы, да и мы с тобою в какой-то мере. Холодные лица на страже холодного закона — боже, как может стать холодно в Америке! Как изменится климат! Как увянут люди, переменятся характеры, какая станет тишина и разобщенность! Да, все верно, закону должны служить люди, лишённые эмоций, параграф и его выполнение прежде всего, наши законы прекрасны, а придумал их не кто-нибудь, а Джефферсон и Вашингтон, которым удалось то, что не

удалось французской революции, но ведь закон подобен живому организму, все в этом мире в чем-то напоминает человека, все подвластно ему или должно стать подвластным, а человечество определяют хорошие люди (должны, во всяком случае), как историю ее пики — Спартак, Лютер, Микеланджело, Юм, Ньютон, Вашингтон, а не серые инквизиторы или бездумные монархи. Я, видимо, пишу коряво, но это значит, что я пишу об очень больном, о том, что не дает мне покоя, что тревожит меня больше, чем мои горести, потому что мы, те, кому за тридцать уже, прожили свои лучшие годы, а нашим детям еще предстоит жить в мире, и от того, кто будет им править, зависит сама Жизнь на земле.

Общение с «холодноглазыми», причем постоянное, деловое, необходимое, разлагающе действует на общество; всякое действие рождает противодействие, и хорошо, если бы против них открыто поднялись, так нет же! Самое страшное, что рождается некое массовое мнение, что, мол, живя среди койотов, надо научиться есть падаль, чтобы не умереть с голоду. Ничто так не разлагает общество, не разобщает его, как цинизм и холодное, безапелляционное, бесчувственное следование параграфу закона.

Придумана схема: мол, «холодноглазые» лишь некая прокладка между большими боссами и народом, необходимая, малочисленная инстанция. Но ведь именно эта прослойка общается с нами, докладывает о нас боссам, потом, в свою очередь, доводит до общественности то, что людям предстоит делать, чем восхищаться, что ненавидеть. Они не боссы, но они уже и не мы, они страшная химера, которая стала ужасающей, незримо могущественной явью. Из кого они состоят? Те, кто умеет объезжать мустангов, занимается своим делом, и счастливы, потому что любимое дело — это высшая человеческая радость, не правда ли?! Бизнесмен, знающий, как наладить дело, весь в своем предприятии, и ему незачем продавать свою душу боссам, он сам босс! Плотника просто-напросто не пускают в этот клан, у него нет знания. Из кого же тогда создается армия «холодноглазых»? Из грамотных, но неумелых, из тех, кто лишен компетентности, но обладает нужной памятью на параграфы закона, из тех, кто труслив, ибо и объездчик мустангов, и бизнесмен должны принимать волевые решения; эти же, «холодноглазые», обязаны делать все,

чтобы все кругом ничего не делали, они тормозят прогресс, они думают лишь о своем месте, которое дает им баки и блага.

Вот о чем я думал, посещая рауты и составляя отчеты об этих балаганах. Первый раз я написал про то, что хозяйка дома, леди Фрич, слегка горбата (и это правда), но это не мешает ей хорошо готовить бутерброды с мягким сыром (вроде мокрого камамбера) и наблюдать, чтобы отцам города вовремя подавали настоящее, шотландское виски. Я дал прочитать отчет Этол, она пришла в ужас, все за меня переписала в том смысле, что «лучистые глаза очаровательной леди Фрич сияли счастьем и добротой, когда она принимала наиболее достойных граждан Хьюстона, собравшихся в ее доме, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием музыкальной культуры города; духом заботы о подрастающем поколении был проникнут короткий, но искрометно-талантливый спич мистера Брайта, который вручил чек на пятьдесят долларов «Организации за верность Традициям Песни Техаса».

Я спросил Этол, не стыдно ли ей так меня править, потому что она, как и я, знает, что мистер Брайт просто-напросто готовится к выборам, а пятьдесят долларов ему вручил «Скотопромышленный банк», ставленником которого он является, но Этол показала мне глазами на ширму, за которой спала Маргарет, и в довершение ко всему заплакала, а когда плачет женщина, я готов сделать все, что могу, лишь бы она плакать перестала.

Кстати, не можешь ли ты подробнее написать, когда с фермы Ричарда ушел ковбой Конрад Арчибальд Смит? По какой причине?

Я желаю тебе счастья и хочу поговорить с моим редактором о командировке к тебе, чтобы мы наконец смогли положить конец бандиту по кличке Малыш и отомстить за гибель прекрасной испанки Тонью. Я обещаю ему написать интересный рассказ об этой экспедиции. Но, боюсь, он меня не пошлет, потому что «холодноглазые» и в редакциях наводят жесткий порядок: Малыш — тема для репортера скандальной хроники, а мне по штату положено не мотаться в седле вдоль границы с ковбоями, а веселить своим юмористическим блеянием читающую публику.

Этол сильно кашляет, ей бы поехать к тебе на ран-

чо, пожить среди ковбоев... Я так боюсь увидеть на ее носовом платке капельку крови, дорогой Ли...

Тот монолог Судьбы, о марионетках, который я тебе отправлял, будет опубликован завтра.

Остаюсь твоим другом
Биллом Портером».

47

«Дорогая доченька!

Мы не могли себе и представить, что дела обернутся так ужасно. Однако, любимая Этол, не волнуйся, все обошлось благополучно. Несмотря на то, что Билла арестовали прямо в здании прокуратуры, сразу же после того, как было вручено обвинительное заключение, Роч сумел сделать так, что его освободили до суда, после того как мы внесли за него залог; в тюрьме он провел только одну ночь; сегодня утром Билл вернулся к нам, принял ванну и лег спать в твоей девичьей комнатке.

Он сделался очень молчаливым, не произнес ни одного слова, осунулся, так что, дитя мое, пожалуйста, смирйй свой нрав и, когда он вернется в Хьюстон, не сердись на него попусту, контролируй свои настроения, столь часто меняющиеся, будь постоянно улыбчивой и заботливой.

Моя маленькая, поверь, семейное счастье в основном зависит от женщины. Даже если случилось худшее и женщина по прошествии месяцев или лет поняла, что не любит своего избранника, ошиблась в нем, то и в этом случае дисциплина и такт могут сохранить такие отношения в семье, которые накануне старости станут дружескими, и все плохое уйдет, останется лишь воспоминание о хорошем. Достоинство и выдержка, Этол, две эти ипостаси христового учения гарантируют человека от бед в его крепости, в Доме его. Но, увы, часто случается прямо противоположное: двое любящих живут словно собака с кошкой, и виновата в этом всегда кошка, потому что она игриво задирает, не контролирует свой нрав, мяучит тогда, когда следует мурлыкать, и показывает когти в тех ситуациях, в которых надо гладить мягкой лапкой.

Биллу сейчас очень плохо, моя девочка. Несколько месяцев ему предстоит жить под дамокловым мечом, ожидая суда, — его официально обвинили в растрате пяти тысяч долларов. Ты понимаешь, какая это для вас сумма; ему надо работать пять лет, и не кормить тебя и Маргарет, и не есть самому, чтобы вернуть эти деньги. Но его обвиняют не только в этом: главное, что ему инкриминируют, заключается в том, что он халатно вел дела, разбазаривал деньги вкладчиков, нарушал федеральные законы о банках и таким образом наносил ущерб Соединенным Штатам.

Как объяснили Рочу, в эпоху государственного становления, которую мы сейчас переживаем, всякого рода анархия, хоть и продиктованная благими намерениями, особенно опасна для общества и будет караться немилосердно.

Прошу тебя, доченька, внемли материнским советам. Пусть господь всегда будет с тобою.

Любящая тебя мама».

48

«Дорогая мамочка!

Билл вернулся в совершенно ужасном состоянии. Случилось самое страшное, что только могло случиться: он начал тайком пить. Он, как всегда, шутит, рассказывает, сколь забавными были его соседи по тюремной камере, считает, что суд оправдает его, но я-то знаю его глаза и вижу в них такую боль, что сердце мое разрывается. Он стал похож на больное животное, сознающее, что дни его сочтены, и ничто не может ему помочь.

Как всегда, он отправляется утром в редакцию (мы скрываем случившееся ото всех, Билл страшно болезненно относится к тому, что произошло, с его-то гордостью — быть «растратчиком», можешь себе представить!), как всегда, он надевает свой английский костюм, который я каждую ночь глажу, чтобы он смотрелся как можно респектабельнее («Чем тебе хуже, — говорит Билл, — тем ты должен выглядеть наряднее, беззаботнее и богаче»), натягивает лайковые перчатки (он отказался от своей порции молока, чтобы я могла им чи-

стить мягкую кожу каждый день) и отправляется в редакцию, где пишет свои юмористические рассказы. Возвращается он за час перед тем, как Маргарет должна отойти ко сну, и сразу же начинает играть с нею, они катаются по полу, хохочут, а потом он рассказывает одну из своих бесчисленных сказок, и девочка засыпает счастливой.

Сначала я не придавала значения его излишне экзальтированной веселости, он ведь всегда был нежен и весел с Маргарет, но однажды поцеловала его и ощутила отвратительный запах виски. Как ты и просила меня, я не подала вида, что почувствовала это, но и на завтра он тоже был навеселе! Тогда я спросила его, откуда у него деньги на выпивку, мы ведь считаем каждый цент, особенно после того, как ты и Роч одолжили две тысячи долларов, внеся за него залог в тюрьму, чтобы он был отпущен до суда домой. Билл ответил, что в Хьюстон приезжал старый ковбой Конрад Арчибалд Смит, с которым он работал на ранчо Ричарда Холла, и ему было неудобно отказать старику в том, чтобы пару раз поужинать с ним, а ковбой, сказал Билл, не понимают, как можно ужинать, да еще со старым приятелем, без пары стаканчиков виски с содовой.

Он смотрел на меня, объясняя происходящее, такими страшными глазами, столько в них было муки, что я в ту ночь не смогла уснуть.

Я не знаю, как мне поступать. Я в отчаянии.

Целую тебя, дорогая мамочка,
любящая тебя Этол Портер».

«Дорогой Ли!

Ты себе не представляешь, как счастливо жить узнику, приговоренному к смертной казни после того, как он подал жалобу на неправомочность приговора и жалобу, как ни странно, приняли к рассмотрению. О, сколь громадной стала казаться ему камера, каким ослепительным мнится ему теперь тусклый свет, проникающий сквозь грязное, зарешеченное оконце, как добры голоса тюремщиков, сколь вкусна похлебка из чечевицы!

Мое настроение значительно ухудшилось, когда в Хьюстон приехал старина Конрад Арчибальд Смит, помнишь, я спрашивал тебя о нем в одном из предыдущих писем? Когда он подошел ко мне возле дверей редакции, сердце мое сжалось от боли, от тоскливой боли по безвозвратно ушедшей молодости, по нашим самым счастливым годам! Как и семь лет назад, он был в своем синем ковбойском костюме, ставшем сейчас благодаря рисункам изнеженных книжных художников маскарадным, в то время как нет на свете более удобной и экономичной одежды, чем эта. Каждая деталь придумана не парижскими законодателями мод, которые маются от томности, но самой жизнью: левый карман — для патронов, правый — для плоскогубцев, которыми надо скрутить проволоку, ограждающую загон, где весело мычат двухлетки с замшевыми губами и глазами влюбленных девушек, карманы на заднице прекрасно вмещают ложку, и перочинный нож, и связку ключей; в боковом, удлиненном, прекрасно лежит кинжал; тот, что на груди, — надежно прячет деньги и плоское портмоне с фотографическим портретом бабушки, мамы и лучшего друга. Ничего лишнего, все прочно, удачно, придумано жизнью, а не голову — пусть даже самой талантливой.

Конрад Арчибальд Смит прибыл не один, а с Бобом Кэртни, который работал у Линдона Б. Пристера, потом уехал в Мемфис и его пригласили в банк, кассиром. Судьба его до ужаса похожа на мою. Так же, как и в Остине, совет директоров состоял из старых ковбоев, зашибивших деньги. Так же, как в «Первом Национальном», все подчинялись закону дружбы, а не параграфу Всеобщего и Безусловного Правила Финансового Уложения для Банков. И так же, как я, был уличен «холодноглазыми» в растрате, но оказался умнее меня, потому что уехал в Мексику на три года, а по прошествии этих трех лет вернулся, так как дело его было закрыто, поскольку, как оказалось, дядя Сэм гневается на растратчиков не более тридцати шести месяцев, а потом сжигает в топке дела по их обвинению и назначает их ревизорами надзора за правильностью расхода средств на приюты.

Вообще этот Боб дал мне накануне отъезда в Остин на суд ряд советов, которые не могут не пригодиться. и давал он их мне, пока дядюшка Смит таскал нам от стойки бара стакашки с дымным виски — боже, какая

сладость виски и как я ненавижу его наутро, когда голова, словно котел, и ничего не идет на ум, а редактор Джонстон уже в пятый раз интересуется, закончил ли я очередной юмористический рассказ, от которого животики должны полопаться у добропорядочных граждан Хьюстона, я ж так умею их смешить, я так понимаю, что надо людям, уставшим от работы, я столь сострадателен к их бедам, надеждам и маленьким мечтаниям!

Ли, я стою на краю обрыва, и ничто не может помочь мне.

Я буду всегда помнить тебя, мой дорогой и добрый друг. Память — спасательный круг для людей, попавших в беду.

Твой Билл Портер».

50

«Дорогой мистер Камингс!

Пожалуйста, вышлите мне вторую часть гонорара, потому что я свою часть работы выполнил, Конрад А. Смит провел то дело, о котором мы уговаривались, голубь улетел, можете травить тех, кто за него ручался.

Ваш Кеннет,
президент фирмы «Посреднические услуги и
консультации».

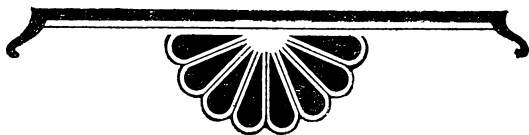
51

«Живым или мертвым!

Полиция Техаса объявляет награду в тридцать долларов тому, кто укажет место укрывания преступника Уильяма С. Портера, скрывшегося от суда, который должен был состояться над ним в Остине 13 июля 1896 года».



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



1

«Майклу Ф. Смайли и Г. Ш. Андерсену.
Уважаемые господа!

До меня только что дошло известие о тех неприятностях, которые переживает ваш «Первый Национальный банк».

Я понимаю, что досадное происшествие с мистером У. С. Портером отнюдь не есть ключевой вопрос. Все достаточно глубже, ибо на наших глазах происходит трагическое столкновение новой волны законников с традициями того прекрасного времени освоения Дикого Запада, наиболее достойными представителями которого, без сомнения, являетесь вы и остальные члены вашего Совета директоров.

Свято храня память о вашем подвиге, гордясь им по праву, я рискую внести вам чисто дружеское, сыновнее предложение: поскольку отлив капиталов из вашего банка принял угрожающий характер, наш «Скотопромышленный банк» готов предоставить вам ссуду под поручительство Хьюстонского банка.

В случае, если Хьюстон откажет вам в такого рода гарантийном письме, мы готовы рассмотреть вопрос о

контрольном пакете акций вашего банка таким образом, что пятьдесят один процент останется в вашем ведении, в то время как сорок девять процентов отойдет нашему Совету директоров. Вы, таким образом, будете продолжать оставаться хозяевами того прекрасного предприятия, которое было организовано вами на заре освоения штата.

Если такого рода предложение вас почему-либо не устроит, я готов обсудить с вами, вполне конфиденциально, те предложения, которые вам представляются приемлемыми.

Остаюсь милостивые государи, вашим покорнейшим

слугою,
Филипп Тимоти-Аустин,
директор «Скотопромышленного банка»,
дипломированный экономист».

2

«Уважаемый мистер Кинг!

Памятуя ваш первый урок, я вынужден обратиться к вам без посредничества мистера Камингса, ибо дело того заслуживает.

Акции «Силвер филдз», приобретенные вами на сумму в сорок семь тысяч долларов, дали прибыль из расчета один к семи.

Однако ныне ситуация резко изменилась в связи с тем, что я получил согласие Совета директоров «Первого Национального банка» в Остине на то, что мне отходит сорок восемь процентов контрольных акций и я становлюсь совладельцем этого предприятия.

С тем, чтобы мои люди смогли получить еще три процента из контрольного пакета и я, таким образом, превратился бы в единоначального руководителя и этого финансового института Техаса, необходимо, чтобы вы добились согласия отсрочки моих налоговых платежей Вашингтону на один год. Прецедент такого рода был, следовательно, вам это не составит особого труда.

Остаюсь и пр.

Филипп Тимоти-Аустин».

«Дорогой Филипп!

Меня удивил тон твоего обращения к мистеру Кингу. Неблагодарность никого еще к добру не приводила. Ты мог и обязан был написать мне, и я бы нашел возможность помочь твоей просьбе, сделав это тактично и тонко. Ты очень огорчил меня. Прошу тебя, напиши мистеру Кингу письмо с извинениями, в противном случае я перестану оказывать тебе то дружеское покровительство, которое помогло тебе стать тем, кто ты есть. Твой друг Камингс».

4

«Уважаемый мистер Кинг!

Я не заинтересован в посредниках типа м-ра Камингса. Жду от вас телеграммы с одним лишь словом «да». Срок — семьдесят два часа. Если в течение этого периода я не получу от вас такого рода телеграммы, мне придется предпринять свои шаги.

Филипп Тимоти».

5

«Директору «Скотопромышленного банка»

Филиппу С. Тимоти-Аустину.

Ну что ж «да» так «да».

Кинг».

6

«Моя любимая!

Понятие «Рубикон», столь знакомое школьникам по урокам истории, обрело для меня смысл явственный и страшный, когда я сошел с поезда на Ривер плэйс, заглянул в буфет, сел за стойку бара, заказал себе стакан оранжада (я не прикоснулся к рюмке, как обещал тебе, ни разу) и, похолодев, ощущая, как уменьшился в росте, ожидал того момента, когда поезд тронется дальше, в Остин, без меня.

И он тронулся. А я пошел в туалет, открыл свой баул, достал старый ковбойский костюм, аккуратно сложил свою английскую пару, спрятал ее, сунув в карма-

ны лайковые перчатки, и отправился в город, где продал твои золотые часы за пятьдесят девять баксов. Таким образом, мой капитал на первых порах составлял триста девятнадцать долларов.

До сих пор я краснею, когда вспоминаю моего доверчивого редактора Джонстона, который легко одолжил мне двести шестьдесят долларов в счет оклада содержания за два с половиной месяца.

«Дорогой Билл, — сказал он мне на прощание, — я не сомневаюсь, что приговор будет оправдательным; в крайнем случае тебя захмутают штрафом в тысячу долларов, но я поддержу тебя еще двумястами сорока долларами, а остальные соберем по подписке: «Великий юморист угодит за решетку, если благодарные читатели и ценители его карикатур не внесут по пятьдесят центов! Уплатите, или Америка потеряет духовного сына Марка Твена!»

Знаешь, любимая, я пребывал в смятенном колебании: а может быть, открыться ему?! Сказать ему всю правду? Ведь он был так добр к нам с тобою все это время! Такой на первый взгляд грубый и неотесанный человек, а как доверчив и раним... Впрочем, видимо, все настоящие люди не бывают однозначными, похожими на лубочных героев из школьных хрестоматий. Истинное добро прячет себя в этом мире зла, иначе его распнут и не дадут ему реализовать себя, а ведь реализация добра — это деяние. Однако же моим деянием является Слово, а его надо творить в состоянии хотя бы относительного покоя. Ждать можно чего угодно: очередного отказа литературного агентства, денежного перевода, приезда друга, только нельзя ждать того, что неподвластно тебе, то есть слов двенадцати присяжных «виновен» или «оправдан». Ведь судья и прокурор будут вдалбливать им в головы про мою вину, а я — по закону человеческой порядочности (может быть, ты права, я ее слишком гипертрофированно понимаю) — не решусь им возразить и буду ждать месяц, два, полгода, год решения судьбы в таинственной и закрытой Второй инстанции, и невольно рука потянется к рюмке, и тогда мое Слово кончится, а значит, и я кончусь...

За те дни, недели, месяцы, может быть, и годы свободы, которую я теперь получил, перейдя мой рубикон, можно собрать темы, обдумать их и начать писать то, к чему меня чем дальше, тем неудержимее тянет: к Энциклопедии Надежды Маленького Человека. Я так

надеялся все эти страшные месяцы на то, что кошмар пройдет, что в суд придет тот, кто должен прийти, и скажет то, что обязан сказать, и ужас кончится, но никто не пришел и не сказал... Либо надо было продолжать ждать слова присяжных и в этом страшном ожидании потерять себя, потерять свою мечту, сделаться тихим пьяницей, который ждет избавления на донышке рюмки, либо надо было предпринять тот шаг, на который мы с тобою решились, любовь моя...

Как всегда, я ищу утешения в книгах древних: «Если божественное обладает всеми добродетелями, то оно обладает и мужеством. Если же оно имеет мужество, то имеет знание страшного, нестрашного и того, что посередине между тем и другим; и если так, то для бога существует нечто страшное. Ведь мужественный не потому мужествен, что знает, в чем состоит опасность для соседа, но потому, что знает, в чем состоит опасность для него самого. Поэтому, если бог мужествен, для него существует нечто страшное. Если же есть нечто страшное для бога, то, значит, существует и то, что может его тяготить. А если это так, то он доступен гибели. Отсюда вытекает: если существует божественное, то оно тленно». Но более всего меня обнадеживает вывод из этого дерзкого постулата Секста Эмпирика: «Но ведь оно нетленно, следовательно, его не существует».

Будем же считать, что разлуки, на которую нас обрекла жизнь, не существует. Будем жить друг в друге постоянно.

Через десять минут подойдет мой поезд. Я купил билет третьего класса. Сейчас нарисую смешную картинку для Маргарет. Скажи ей, что я привезу из моей дальней поездки дрессированного жирафа и много цветных ракушек, в которых постоянно шумит море.

Я стану писать тебе на имя Долли Вильсон, думаю, она сможет достойно хранить нашу тайну.

Я молю бога за тебя и за девочку.

Любящий тебя Билл Портер».

7

«Дорогой Ли!

Ты себе и представить не можешь мое нынешнее житье в Новом Орлеане!

Во-первых, я легко устроился в газету, взяв себе псевдоним Остина Брайта. Во-вторых, мне положили

пятьдесят долларов в месяц, что по здешним ценам очень мало, однако мы — восемь репортеров — сняли старый сарай во французском квартале, поставили там семь скрипучих кроватей, четыре стола (по половине на брата), это стоило каждому восемь долларов, и в довершение ко всему нашли в порту «бича», великолепно-го судового кока; он креол, хорошо поет (мы иногда с ним делаем это на два голоса) и совершенно замечательно готовит нам ленч — дешево и изобретательно. Стоит это каждому семнадцать центов. Я довольно скрупулезно подсчитывал мои финансы и пришел к выводу, что смогу посылать Этол по меньшей мере двенадцать долларов в месяц.

К счастью, в этом портовом городе, привыкшем к тому, что люди текут — сегодня он здесь, а завтра ушел в Европу или же в Латинскую Америку, — нет паспортных формальностей; никто ни к кому особо не присматривается, каждый живет сам по себе.

Перед тем как поселиться в нашем репортерском сарае, я прожил пять дней в дешевеньком пансионате, но с претензией на семейность, то есть порядочность. Здесь разыгралась настоящая драма: моим соседом был старый майор, южанин, снимавший комнату вместе с прелестной дочерью. Она посвятила себя отцу, ей уже тридцать, но она не выходит замуж, потому что трепетно предана родителю, оставшемуся вдовцом. Вторым соседом на этаже был нищий артист Джон Грин. По вечерам мы собирались на чай, и майор рассказывал истории о сражениях против северян, изображая всех людей на разные голоса, причем южанам были — в его интерпретации — свойственны порядочность, мужество и доброта, а северянам — напористое высокомерие, пренебрежительное отношение к традициям и сюсюканье с «ниггерами».

Смешно, точно так же копировал «ниггеров» и Филипп С. Тимоти-Аустин, молодой парнишка в Гринсборо. Я однажды изобразил его на сцене нашего любительского театра; ему стало трудно ходить по городу, так над ним все потешались; перед отъездом он встретил меня возле аптеки и сказал: «Я отомщу тебе так, что ты будешь кусать локти за то, что публично оскорбил меня». Я с болью душевной вспомнил этого юношу; мне горько, что он так отнесся к шутке, но сцена, свидетелем которой я оказался в пансионате, несколько меня утешила.

Дело в том, что актер Джон Грин постоянно просил майора рассказывать свои истории, а никто так не алчет аудитории, как старые военные. Майор занимал нас целыми вечерами, а потом он случайно пошел в театр и увидел себя на сцене; гневу его не было предела — Грин скопировал его абсолютно. Этой ролью Грин добился огромного успеха, дела его пошли очень хорошо, а майор вконец обанкротился, ему даже нечем было платить за жилье, ситуация совершенно страшная. Грин, переехавший в хороший отель, узнал об этом, но не решился прийти к майору, потому что тот отказал ему, после спектакля, в знакомстве и даже хотел вызвать на дуэль. Знаешь, что он сделал? Загримировался негром, придумал себе роль, что, мол, он был рабом майора (а тот рассказывал, что у него было сорок рабов и все его боготворили за доброту), и принес ему двести баков, чтобы старик мог расплатиться за комнату. Поскольку никто не помнит ни имен своих рабов, ни их лиц, только все твердо убеждены, что бедняги их до сих пор обожают, считая эпоху рабства самой светлой порой жизни, майор легко принял деньги. Прекрасный сюжет, не правда ли?

Я не знаю, чем занимается сейчас бедный Филипп Тимоти-Аустин, по-моему, он ехал учиться банковскому делу, но я бы с радостью загримировался негром (ковбоем гримироваться не надо, я одеваюсь теперь так, как у тебя на ранчо, и даже в целях конспирации отрастил бороду) и доставил бы ему какую-нибудь радость. Только денег не смог бы принести: последнюю неделю перед выплатой оклада содержания (здесь платят не по неделям, а по десятидневкам) я ужинаю прекрасной холодной водой, успокаивая себя тем, что это промывает почки, а именно от них зависит человеческое долголетие.

...В бедной моей голове что ни день, то рождается рассказ, я вижу его от начала и до конца, я даже слышу голос, который его читает, но для того, чтобы писать, надо иметь время и хлеб, а также стол, книжную полку и право спать в комнате, где больше никто не храпит. Иногда мне кажется, что бедная моя черепушка взорвется от тем и сюжетов, образов, фраз, пейзажей, и тогда, чтобы не начать петь дурным голосом в публичном месте арию из оперы Джозефа Ве-ер-ди, приходится идти в салун дяди Дэниса, где собираются игроки в покер, садиться к столу и, зажав в потном ку-

лаке сэкономленные за неделю семь долларов, включиться в игру. Я понимаю, что разбогатеть на картежной игре нельзя, но отвлечься, наблюдая за накальностью страстей, вполне можно. И еще важно то, что здесь я прохожу уроки сюжетологии: только-только сидел человек с двумя мешочками золота, крепкий и уверенный в себе, вальяжно заказывал виски, и бармен подпархивал к нему и ставки его были ухватистыми, пока некто, наблюдавший за ним из угла весь вечер, не подходил к столу, брал карту, давяще, но при этом раздражающе-небрежно блефовал, забирал пару мешочков золота себе, и на твоих глазах происходила метаморфоза, описывать которую хоть и больно, но необходимо, ибо нигде так не обнажается человек, как за карточным столом. Он подобен здесь рисковому политику или банковскому воротиле: пока на коне — он силен и уверен в себе, но стоит ему проигратися — делается таким жалким, что глядеть на него тошно, будто побитый пес под дождем накануне землетрясения.

Должен тебе признаться, что мне ужасно не хочется описывать, как люди проигрывают, — так мне их жаль! Но ведь если бы не было проигрыша, не существовало б и выигрыша, разве нет?

Кстати, я ни разу в жизни не выиграл в карты. Сядя к столу, я заранее знаю, что вернусь в наш репортерский сарай без цента в кармане, но, боже, каким я чувствую себя богатеем ночью, перед тем как уснуть! Сколько я услышал новых слов! Сколько поразительных коллизий прошло перед моими глазами! Сколько историй я узнал, когда, почувствовав облегчение в карманах, попивал свое пиво, оплаченное загодя, и внимал тем бедолагам, которые пришли испытать судьбу, потеряв всяческую надежду добиться счастья где-либо в другом месте.

Дорогой Ли, я подбираю верного человека, на чье имя ты бы мог мне писать. Как понимаешь, оказаться арестованным в течение тех трех лет, что мне предстоит скрываться, — дело далеко не веселое. Я должен лежать затаившись, как аллигатор, чтобы вернуться к Этол и Маргарет ровно через два года, одиннадцать месяцев и три дня. И вернуться не как побежденный, тихо, ночью, тайком от любопытствующих соседских глаз, но днем, весело и шумно, а в руке у меня будет саквояж, в котором я принесу не семь самородков ве-

сом пять килограммов каждый, не голову Малыша, за-
спиртованную в прозекторской, но штук сорок-пятьдесят
рассказов, которые позволят мне писать еще больше —
обо всем том, о чем нельзя не сказать людям.

Остаюсь твоим другом

Биллом, Рыжей Бородой».

8

«Дорогой мистер Врук!

Я был бы бесконечно вам признателен, если бы вы
поручили кому-нибудь в вашей адвокатской конторе вы-
яснить — только весьма деликатно — один вопрос, весь-
ма меня интересующий: не жил когда-либо директор
«Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аус-
стин в Гринсборо?

Примите уверения в моем совершенном почтении

Ли Холл, фермер».

9

«Дорогой мистер Холл!

Мои сотрудники предприняли немало усилий, чтобы
выполнить вашу просьбу. Да, действительно, Филипп
Самуэль Тимоти-Аустин жил в Гринсборо пятнадцать
лет назад, то есть до февраля 1882 года. Именно отту-
да он уехал в Нью-Йорк, где поступил в колледж, на
экономический семинар.

В настоящее время мистер Филипп С. Тимоти-Аустин
является не только президентом и директором «Ското-
промышленного банка», но также членом Наблюдатель-
ного совета компании «Силвер филдз» и одним из чле-
нов Совета директоров банков в Хьюстоне и «Первого
Национального» в Остине.

Гонорар за наведенную справку в размере семи дол-
ларов переведите на прилагаемый текущий счет.

Примите уверения в самом глубоком уважении,

готовый к услугам
Саймон Врук».

«Уважаемый мистер Врук!

Высылая ваш гонорар за наведенную справку, хочу принести глубокую благодарность за то, что вы столь тактично и быстро выполнили мою просьбу. Именно это позволяет мне сделать следующий шаг и предложить вам провести исследование вопроса, весьма меня занимающего: как в банковских кругах, в первую очередь в «Первом Национальном», относятся к исчезновению из-под суда Билла С. Портера? Считают ли его в этих кругах растратчиком, и если да, то кто именно? Или же есть люди, которые верят в его невиновность? Кто они, какова мера их весомости?

Поскольку м-р Портер исчез при таинственных обстоятельствах накануне суда и никто не знает, жив ли он, мне бы хотелось предпринять все возможное, чтобы понять правду, ибо этот мистер работал у меня на ранчо и зарекомендовал себя с весьма неплохой стороны. Убежденный в том, что добро подобно бумерангу; никак не связанный с Портером; движимый лишь интересом и справедливостью, хочу просить вас принять от меня такого рода заказ и подготовить подробную справку. Гонорар будет выслан по первому требованию.

С уважением
Ли Холл, фермер».

11

«Дорогая мамочка!

Я получила весточку от моего друга, в которой тот рассказывает, что дела его идут очень хорошо. Он намерен начать свой бизнес. В деньгах не испытывает нужды. Имеет хорошую квартиру и работает по специальности.

Однако мои дела не столь хороши, как у моего друга. Постоянный озноб делает меня страшной мерзлячкой, и даже в жару я вынуждена носить шерстяные вещи. Иногда я смотрю на себя со стороны, и мне делается страшно, потому что чем холоднее мне и зябче, тем ужаснее становится мой характер. Я бываю еще более несдержанной, могу накричать без повода на малютку Маргарет, она зальется слезами, и я потом не на-

хожу себе места и не знаю, как объяснить моему чуду, что я люблю ее больше жизни...

Доктор Плор, считая, что болезнь перешла мне по наследству от покойного папы, не рекомендует целовать Маргарет, а как может выразить любовь мать, если не поцелуем и не объятием?!

Я была вынуждена продать кулон, чтобы приобрести в рассрочку пишущую машинку, дабы, окончив курсы стенографии и секретарского дела, готовить себя к труду, который бы позволил мне содержать Маргарет и себя. Я не ропщу на судьбу. Те годы, когда Билл был рядом, мы были, несмотря на мой характер, по-настоящему счастливы. Я гордилась и горжусь тем, как он рисовал и складно придумывал свои истории, как он обожал Маргарет, как он воспитывал ее в чести, доброте и благородстве. Наверное, обо всем хорошем начинаешь вспоминать только после того, как оно, это хорошее, ушло безвозвратно. Почему так устроен человек, что он не молит бога каждое утро продлить день, задержать бег минут, оттянуть начало вечера?!

Целую тебя бесчисленное количество раз,
твоя дочь Этол Портер».

12

«Дорогая Этол!

Роч и я будем счастливы, если ты вернешься с крошкой Маргарет в отчий дом.

Целую, мама».

13

«Любимая!

Почти каждую ночь мне показывают тебя во сне. Сон бывает один и тот же по сюжету: ты и Маргарет играете на лужайке, за моей «конюшней» в Остине: Маргарет хохочет, запрокинув головку, кудряшки разметались по плечам, щечки разругались: ты догоняешь ее, подбрасываешь над головой, но в этот миг у тебя подворачивается нога и ты падаешь. Маргарет должна удариться оземь, личико ее белеет от страха, я в ужасе кричу тебе что-то и просыпаюсь.

Я долго молюсь каждое утро, хотя, как ты знаешь, у меня сложные отношения с богом. Вообще-то он пред-

ставляется мне парнем моего возраста, с очень красивыми глазами; смотрит добро, иногда подмигивает; порою я спрашиваю его, отчего он допустил такое бессердечие по отношению ко мне? Зачем позволил свершиться несправедливости? А он однажды ответил: «Я хочу провести тебя сквозь круги ада, только тогда ты выполнишь то, что тебе предписано судьбою». «А кто дал право тебе придумывать мою судьбу? В конечном счете я сам должен о себе думать, соизмеряя свои поступки с той моралью, которую ты оставил мне». «Не ерепенься, — сказал он мне, усмехаясь, — ничто так не окупается в вашей суетной жизни, как терпение, добро и честность».

Я пишу каждый день. Я работаю так, чтобы свалиться и уснуть, но меня постоянно гложет мысль: а может быть, я напрасно послушался совета и уехал? Может быть, мне все-таки надо было сесть на скамью подсудимых? Ведь я же ни в чем не виноват, ты веришь мне, любовь моя?! Но, с другой стороны, если кому-то было угодно выставить меня расхитителем и обманщиком еще до суда, то, значит, эти силы никогда бы не отступились от своего, никогда бы не признали неправоты, а, наоборот, надежно упрятали меня за решетку!

Я здесь не выпил ни одной рюмки вина, не говоря уже о виски.

Условия, в которых я живу, отменно хороши, прекрасная комната для работы, великолепная кровать; питаюсь я регулярно, как ты и просила, ем много фруктов и овощей, кашля нет, и ничего не напоминает мне о чахотке, которую я перенес в юности.

Любимая, пожалуйста, следи за своим здоровьем. Мое сердце разрывается от того, что я не могу быть рядом с вами. Я верю в то, что напишу такие рассказы, которые напечатают в лучших журналах! Я верну те деньги, которые ты одолжила у родителей, все до последнего цента! Не экономь на еде; не мне, а тебе необходимо хорошее питание, свежее молоко, фрукты. Боже, как трудна жизнь и сколь беспросветна она!

Мне захотелось вычеркнуть последнюю фразу, потому что в рассказах (а не в очерках) я всегда запрещаю себе говорить о горьком: его так много в жизни и оно столь очевидно, что лучше подольше задерживать взгляд на том хорошем, чего, увы, так мало. Но ведь тем, видимо, важнее видеть хорошее, радоваться ему и рассказывать об этом всем, кто умеет слушать! Самые несчаст-

ные люди на земле — это те, которые не умеют радоваться и верить в добро; им неведомо понятие Надежда, а это страшно — жить без Надежды.

Умный Гёте утверждал, что во все времена люди прежде всего старались познать самих себя. Но этого до сих пор никому не удавалось, да и неизвестно, следует ли вообще такого рода требование выполнять! Помыслы и мечты человека всегда обращены к внешнему миру, следовательно, и заботиться ему в первую очередь надо именно о познании этого мира, чтобы поставить его себе на службу, поскольку это нужно для его целей. Себя человек познает, только когда страдает или радуется. Вообще же, заключал Гёте, человек создание темное, он не очень-то понимает, откуда происходит и куда идет, мало знает о мире, а еще меньше о себе самом.

Меня не оставляет мысль, что я замахнулся на что-то слишком большое, вряд ли осуществимое: написать цикл рассказов, которые должны стать хрестоматией Надежды и Добра. Знаешь, ведь даже Шекспир брал целые куски исторических хроник и использовал их в своих пьесах почти дословно. Он писал героев и злодеев, доверчивых добряков и хитрых предателей, но он всегда поднимал их над людьми, придавая им элемент исключительности. А у меня разрывается сердце от любви к ковбоям, к продавщицам магазинов, которые живут на семь долларов в неделю, к голодным художникам и спившимся репортерам. И еще: в нашем мире зла меня манят бандиты и налетчики, которых самое общество понудило к тому, чтобы они взялись за кольт или набор сейфовских ключей. Когда большие акулы имеют право на все (их злодеяния называют «свободой предпринимательства»), маленькая рыбешка тоже точит зубы, ибо если люди родились на свет равными, то отчего одному можно все, а другому все запрещено? Преступления мира рождают несправедливость общества, водораздел между бедными и богатыми, темные запреты на все и вся — большинству, и безграничная вседозволенность — могущественному меньшинству. Поэтому-то мне и хочется писать про это большинство, поэтому-то я и мечтаю подарить им Надежду...

А вот нам — никак не могу.

Прости за то, что это письмо получилось грустным. Это оттого, что я тебя очень люблю.

Нежно преданный тебе Билл».

«Многоуважаемый мистер Холл!

Мои сотрудники почли за честь выполнить ваше новое поручение.

В результате опроса людей, имеющих значительный вес в банковских кругах как Остина, так и Хьюстона, сложилось мнение, что Портера не считают злостным растратчиком. Большинство убеждено, что он был бы оправдан, предстань перед судом присяжных. В то же время целый ряд лиц считают возможным допустить следующее: поскольку мистер Портер был человеком «оригинальным», несколько «не от мира сего», весьма «добрым и рассеянным», пытавшимся сочинять «юмористические поделки для литературных журналов» (весьма слабые, но задиристые), то к своим прямым обязанностям он не проявлял должной въедливости и, если хотите, жесткости, поскольку именно кассир должен тщательно наблюдать за законностью сделок и выдавать деньги только в том случае, если операция оформлена по всем параграфам закона.

Лица, знакомые с некоторыми присяжными, выражают уверенность, что обвинение в злостной растрате пяти тысяч долларов было бы отвергнуто. В то же время за халатность Портер, видимо, получил бы штраф или несколько месяцев заключения, от которого можно было бы освободиться, внеся залог и начав кассационную битву.

Ряд лиц (такие, как содиректор «Первого Национального» Андерсен) категорически настаивают на полной невинности Портера. Такой же точки зрения придерживается и создатель Банка Майкл Ф. Смайли, ныне смертельно больной.

При этом моим сотрудникам стало известно, что президент «Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аустин убежден, будто Портер похитил деньги из кассы, дабы финансировать свою газету «Роллинг стоун». Поскольку мистер Тимоти-Аустин превратился в одного из наиболее крупных банкиров Техаса, с его точкой зрения не могут не считаться люди в прокуратуре; именно давление мистера Филиппа С. Тимоти-Аустина объясняет ту непреклонную позицию, которую ныне занял суд, требуя ареста Портера и доставки его под стражу — «живым или мертвым».

Мои сотрудники затрудняются сказать, каким будет

приговор суда, появившись м-р Портер в Остине; время упущено; страсти накалились; кто-то хочет его крови — это совершенно бесспорно для меня и моих сотрудников.

Соблаговолите, уважаемый мистер Холл, перечислить на мой текущий счет тридцать девять долларов.

Готовый к услугам

Саймон Врук».

15

«Дорогой Билл!

В предыдущем письме ты рассказал мне о некоем Филиппе С. Тимоти-Аустине, которого ты крепко поддел в Гринсборо, в пору юности. Будь любезен описать мне его внешность, только очень подробно и без твоих обычных шуток.

Дело в том, что некий Филипп С. Тимоти-Аустин, ставший одним из банковских воротил, называет тебя злым преступником, корыстно запуская руку в кассу «Первого Национального». Кое-кто считает, что именно он был пружиной того дела, которое столь неожиданно раскрылось против тебя.

Поначалу я был убежден, что тебе не следовало уходить от суда, но если это тот самый Тимоти-Аустин, тогда ты поступил правильно. В конце концов три года не срок в нашей жизни. Три года на свободе, пусть даже под чужим именем, значительно лучше, чем десять лет в тюрьме, а тебе мог грозить именно такой срок.

Я отправил Этол сто долларов (ты вернешь мне эти деньги, когда станешь знаменитым писателем), чтобы она смогла перебраться в Остин. Я убежден, что ей надо жить рядом с матерью.

Пожалуйста, ответь немедленно.

Твой Ли Холл».

16

«Уважаемый мистер Тимоти-Аустин!

По поручению моего шефа Саймона Врука я проводил опрос общественного мнения по поводу растраты в «Первом Национальном».

Как мне стало известно, эту странную работу заказал мистеру Вруку крупный фермер с юга Техаса.

Если вас интересует местонахождение мистера Портера, сбежавшего из-под суда, я мог бы предложить вам свои услуги, которые оцениваются в двести пятьдесят долларов.

В ожидании вашего ответа
Бенджамин Во».

17

«Дорогой Ли!

Твое письмо позабавило меня. Сюжет, заключенный в нем, неправдоподобен, но что, как не жизнь, дает нам образчики неправдоподобия, составляющего тем не менее каждодневную обыденность?!

Я утешаю себя тем, что постоянно перечитываю великих (взнос в здешнюю библиотеку невелик, всего десять долларов, зато подбор книг совершенно поразителен). Когда человек в беде, он жадно ищет ответа на волнующие его вопросы именно в классике, потому что в ней всегда заключено несколько смыслов. Разница между литературой и словесным упражнением в том-то и заключается, что поделки от Слова описывают очевидное, герои в такого рода книжках говорят деревянным языком, мысли отсутствуют, одна лишь интрига и дотошное описание ландшафта. А классика каждый может примерить на себя, найти ответы на вопросы, которые тебя тревожат, зарядить силой — даже в том случае, если ты не согласен с трактовкой гения.

Я перечитал Ибсена и пришел к любопытному — очень для меня, кстати, нужному сейчас — выводу: все его творчество призывает человека к тому, чтобы успеть выразить себя, отдать то, что ему отпущено, до конца. Если уж ты плохой, то будь до конца плохим, а коли хороший — сделайся образцом для подражания. Только не будь посредине. Будь самим собой — злым Калигулой, мудрым Цезарем, — но только обязательно вырази до конца свою сущность!

Неужели я был прав тогда, в пору своей зеленой юности, когда почувствовал в Филиппе Тимоти-Аустине зло, маленькое и коварное, и выставил его в том свете, какого он заслуживал?! Неужели мне был отпущен дар видеть то, что не видно другим?! Браво, Портер! Я стал

относиться к тебе значительно более уважительно, чем раньше. Воистину каждый из нас замыслен природою как неповторимое, уникальное, самобытное существо; от нас зависит, выполним мы волю, заложенную в каждом из нас, или нам окажется это не под силу. Возникает какой-то момент, когда человек должен ответить себе: под силу ему стать тем, кем он стать должен, или же следует констатировать: «Я не способен на это, не хватает сил, терпения, знания, страсти». Огромное большинство выбирают второй путь, благородно признаваясь самим себе в неспособности создать то, что они создать были обязаны; это честно, не скрою, но это такое благородство правды, которое убивает счастье.

Ты спрашиваешь меня, каков был Филипп?

Право, мне трудно ответить на твой вопрос. Я не помню его лицо. В нем было что-то стертое, быстрое, низменное. Может быть, я пристрастен, особенно после того, как получил твое письмо. Мне трудно совладать с собою. Я не умею ненавидеть, наверное, в этом — мой главный недостаток. Я боюсь обидеть человека. Я опасаясь пошевелиться в толпе, чтобы ненароком не ударить того, кто слабее меня или стоит сзади.

Но если это тот Филипп Тимоти-Аустин, которого я вышутил, и он столько лет хранил в себе ненависть против меня, то, значит, он — Личность, он — состоялся, он смог изваять из той заготовки, которой был тринадцать лет назад, нечто цельное, чем стал ныне: никакой середины! Если злодей — то злодей до конца! Но кто сказал, что мститель — злодей? Может быть, он такое пережил после моей шутки, что нам с тобою и не снилось, кто знает?!

Да, у него была родинка на правой щеке, маленькая, черная, с волоском, который вился. Я всласть потешился над этой родинкой.

Зачем? Не знаю. Людей надо жалеть, но, увы, к этому постулату приходишь после того, как жизнь крепко тебе самому наkostenяет.

...Не знаю, чем это объяснить, но я стал ощущать вокруг себя какую-то затаенную тревогу.

Я полагал, что смогу много писать, но мечтам моим не суждено сбыться, поскольку репортажи, которые я подрядился делать ежедневно для газеты, отнимают все время.

...Кто-то рассказал смешную историю: биржевой маклер сделал своей секретарше предложение, а та удари-

лась в слезы. Он удивился: «Я обидел вас?» Она ответила: «Нет, но ведь ты вчера уже женился на мне!»

Утром я просыпаюсь с сюжетом нового рассказа в голове, а вечером сижу в салуне, смотрю на игроков в покер, и ни мысли во мне нет, ни желания писать, одно отчаяние.

Пожалуйста, не сердись, что я отправлю тебе грустное письмо.

Твой Билл».

18

«Уважаемый мистер Врук!

Ваш сотрудник Бенджамин Во обратился ко мне с предложением обнаружить место пребывания сбежавшего из-под суда кассира «Первого Национального банка».

Мне непонятна бестактность такого рода. Я никогда не встречался с этим господином, его судьба меня совершенно не волнует, однако меня не может не тревожить преступление закона, совершенное м-ром Портером в том банке, который входит в орбиту интереса корпораций, с которыми я связан.

Поэтому, если вашей конторе известно местонахождение преступника, соблаговолите поставить об этом в известность полицию и прокуратуру, а своему сотруднику разъясните, что негоже предавать интересы того босса, которому служишь.

Поскольку м-р Бенджамин Во намекнул, что вы приняли заказ клиента, заинтересованного в судьбе м-ра Портера, советовал бы вам немедленно уведомить власти и об этом человеке, потому что он вполне может знать, где находится преступник, уклоняющийся от ответственности и наносящий этим урон Справедливости, Морали и Долгу.

Филипп С. Тимоти-Аустин,

президент «Скотопромышленного банка».

19

«Любимая!

Ты не представляешь себе, как славно движутся мои дела! Я много работаю в газетах, но все свободное

время пишу, обложившись книгами, в моем тихом, удобном кабинетике.

Я отправил несколько вещей в «Детройт фри пресс» и сейчас жду отзыва. Помнишь, как они купили мои юморески, прислали чек на шесть долларов и предложили работать на них постоянно?!

Убежден, что и на этот раз они купят несколько вещей, и я смогу переправить тебе денег. Мне так стыдно перед тобой, родная, что пришлось обречь тебя на незаслуженный позор и постоянную зависимость от родителей!

Я теперь спокоен, как никогда раньше, ощущение невиновности дает мне радостную силу творить; единственное горе — это разлука с тобою и Маргарет.

Чем труднее я думаю о прошедшем, тем явственнее понимаю необходимость того вихря, который сметет старье и даст людям единственно им нужное: определенное равенство в распределении благ. При этом я понимаю, что равенство есть некий вызов природе, которая не признает равенства, поскольку в прериях живет лев и коза, то есть тиран и жертва. Но ведь если не верить в чудо, которое рано или поздно принесет счастье каждому (только потому — всем), стоит ли жить на земле?! Всегда надо быть героем в мыслях, только это позволит человеку в его деяниях соблюдать мало-мальски достойную порядочность. Вокруг нас так много плохих людей, которые алчно гасят те огни, которые мы зажигаем в своей душе и в душах наших близких...

Ты должна быть уверена в нашем завтрашнем дне, Этол. Какие бы испытания ни выпали на нашу долю, Правда победит. Нам осталось ждать встречи всего восемьсот девяносто семь дней, они пролетят как миг.

Нас, словно острова, бьет волнами страшный океан неизвестного, но ведь именно эти постоянные пенные удары и дают нам право на веру. Мы окружены беспроглядной тайной; даже минута, которая наступит, может изменить нашу жизнь, но кто сказал, что надо бояться Времени, таинственно спрессованного в секунды и доли секунд?! Когда я ощущаю усталость, в голове моей возникают вопросы, которые я гоню прочь, ибо они безжалостны, а человек, прикасающийся к перу, обязан быть милосердным, иначе он злодей и коварный обманщик. Да, я отдаю себе отчет в том, что землетрясение

равнодушно и силам, вызывающим его, совершенно безразлично, если под осыпающимися кирпичами дома погибнет повый Шекспир или зачатый накануне Моцарт. Да, правда жизни такова, что тайфун одинаково беспощаден и к пророку и к лжецу, но это не дает право литератору считать, что бессовестность стихии обрекает его на унылое бытописание знакомой ему маленькой правды. Ироничная вера в чудо даст людям успокоенную надежду и чуть-чуть веры в свою силу. Это именно мне и хочется выразить в тех рассказах, которые разрывают голову.

Любовь моя, береги себя и Маргарет.

Вы, словно маяки в ночи, когда с рейда Нового Орлеана выходят корабли и берут курс в океан, навстречу ветрам и судьбе.

Я нарисовал эти маяки на рейде, но они вышли смешными, а потому жалкими, и я не стал отправлять тебе этот рисунок. Воистину человек — это стиль, а когда начинается совмещение несовместимого, делается стыдно за автора.

Майкл Сноу, мой коллега по газете, пишет рассказы, в которых с невыразимой тоской рассказывает о праздничном шуме французского квартала, где чуть не до утра звучит музыка негритянских музыкантов, о веселье, царящем в маленьких ресторанчиках, где тепло и уютно, и страшной жизни в ночлежках, расположенных совсем неподалеку. Каждый его рассказ — это плач, но кто сказал, что литература — синоним безысходности?! В настоящей прозе должны быть открыто провозглашены не только Права человека, но и его Обязанности! А человек обязан быть счастливым. Его надо побуждать к этому, требовать от него поступка, а не слезливого описания горестей, на него свалившихся, — в этом я вижу задачу литератора.

Порою я задаю себе вопрос: а не избрал ли я роль Великого Обманщика? Ну и что, отвечаю я себе, а почему нет? Есть же библейское выражение: «ложь во спасение», — и оно прекрасно, ибо в нем сокрыто страдание истинное, а не стороннее.

Любовь моя, следующее письмо я напишу тебе через три дня, и оно будет таким веселым, что ты будешь смеяться до слез, обещаю!

Целуй нашу маленькую.

Твой Билл».

«Дорогой мистер Камингс!

Поскольку говорят, что вы представляете интересы высокочтимого мистера Кинга, являющегося надеждой честных граждан Техаса, хочу поделиться с вами моим горем.

Я, честный детектив Бенджамин Во, семь лет работал не за страх, а за совесть в юридической конторе Саймона Врука, Хьюстон, Техас.

Ныне я потерял работу из-за того, что президент «Скотопромышленного банка» Филипп С. Тимоти-Аустин переслал мое доверительное предложение о сотрудничестве моему боссу, сопроводив письмо тенденциозным комментарием.

А дело в том, что некий землевладелец Ли Холл обратился к моему боссу с просьбой провести анализ общественного мнения по поводу дела «Первого Национального банка» в Остине.

Мне удалось выяснить, что наиболее агрессивен (тщательно скрывая это от всех) по отношению к м-ру Портеру (это кассир, единственный привлеченный к суду служащий банка) был именно м-р Тимоти-Аустин. Лоббируя — через нанятых им юристов — за гражданскую казнь вышеназванного служащего «Первого Национального», человека, занятого химерами (Портер сочиняет и рисует карикатуры), м-р Тимоти на самом деле преследовал иные цели, видимо, делового порядка, а кассир был лишь средством давления на людей, против которых была предпринята атака. Зная эту агрессивность м-ра Тимоти-Аустина, я доверчиво внес ему предложение узнать адрес м-ра Ли Холла, что, мне кажется, дало бы возможность установить место нахождения м-ра Портера. Естественно, я определил ту цену, которая бы окупила мои затраты, неизбежные в такого рода поиске.

Вместо ответа м-р Тимоти-Аустин потребовал моего увольнения, и я теперь оказался без средств к существованию.

Зная вашу доброту и отзывчивость, просил бы вас похлопотать за меня перед мистером Кингом и восстановить справедливость.

В ожидании вашего ответа.

Бенджамин Во, частный детектив-аналитик».

«Дорогой Кинг!

Посмотри письмо бедолаги Во. Не покажется ли оно тебе любопытным?

Если да — назначь время встречи, мы обсудим препозицию.

Один русский начальник сказал про Наполеона: «Резво шагает мальчик, не пора ли унять!» Я с готовностью повторяю слова этого генерала, соотнося их с нашим зарвавшимся «скотским» деятелем.

Искренне твой
Камингс».

«Дорогой отец!

Я долго думал, отправлять ли тебе это письмо. Только не делай скоропалительного вывода, будто я взялся за перо оттого, что уже вторую неделю сплю в бесплатной ночлежке для бедных.

Я решил написать тебе потому, что мой сосед по нарам бездомный репортер Билл Сидней, исхудавший до того, что локти у него похожи на острые палки, много рассказывал про своего отца, который получил диплом врача, однако всю жизнь конструировал летательные аппараты и сельскохозяйственный комбайн, а властная бабушка заставляла Билла сжигать не только чертежи, над которыми старик проводил вечера и ночи напролет, но и готовые модели. Бабушка хотела отцу добра, она мечтала вернуть его на путь медицины, отбив у него охоту к бредовым идеям, за которые не платят и ломаного гроша.

У нас все было так же. Ты запрещал мне заниматься живописью, предрекал неудачи, хотел вернуть меня на стезю добродетели: ну как же, сын владельца фабрики, и вдруг малюет картинки!

Но Билл Сидней рассказывал про свою жизнь так, что мне было равно жаль и отца его и бабушку: каждый жил своей верой.

Ты всегда говорил мне, что я ничего не добьюсь в живописи. К моим первым успехам ты отнесся критически, и ты до сих пор не знаешь, отчего мне перестали делать заказы. Если человеку дан дар писать лица

людей, он, следовательно, владеет таинственным свойством чувствовать в ангеле злодея, а в падшей женщине — прелестные черты Манон Леско.

Помнишь, я не хотел писать твоего Джексона? Это был не каприз, просто я слишком хорошо чувствовал его, ощущал его внутренние пороки, а если так, то кисть мне уже неподвластна, она подчиняется тому, что во мне заложено. Джексон отказался купить свой портрет. Потом Эдлай отказался выкупить портрет жены, а после пошли разговоры, что я бездарь, рисовать не умею, а лишь делаю злостные карикатуры на уважаемых людей.

Живопись, папа, это такая возлюбленная, за которую жизнь отдашь, не то, что блага, вроде теплого дома и сытного обеда.

Если человек реализует себя в искусстве, сказал мне репортер Билл Сидней, с которым мы спим в обнимку, чтоб не было так холодно, тогда он избежит тлена и достигнет того, о чем мечтали все великие, — Бессмертия.

Я смогу вернуться к тебе только в том случае, если ты поймешь, что не из прихоти и не по причине неуживчивого характера я писал портреты, которые вызвали гнев против меня в нашем городе. Служение правде предполагает честность. Прости за патетику, но это так.

Не могу дать тебе обратного адреса, ибо его у меня нет.

Билл Сидней нашел работу в порту, мы грузим ящики с сельскохозяйственным инвентарем для Гондураса и Венесуэлы. Платят неплохо. На краски хватает. Я напишу тебе, как будут развиваться мои дела в будущем.

Твой сын

Эндрю, который все-таки считает себя художником».

23

«Дорогой Билл!

Я тут провел кое-какую работу и выяснил, что подавляющая часть жителей Остина (я имею в виду тех, кто может повлиять на общественное мнение, то есть на присяжных) совершенно убеждена в твоей невинности. Определенная, весьма незначительная часть полагает, что ты мог совершить ошибку в записи, но отнюдь не

из преступных целей, а по ошибке или неопытности. И единицы, а прежде всего, сдается мне, этот самый Тимоти-Аустин (родинка у него на щеке есть, и волос он не стрижет) мутит воду из своего далёка, а позиции у него довольно крепкие.

Поэтому я не могу сказать тебе с полной убежденностью: «Возвращайся, ты выиграешь процесс!» Но и смотреть спокойно на то, как ты вынужден три года скитаться, тоже не могу, твоя судьба отнюдь не безразлична мне.

В городе ходит слух, что на самом-то деле ты проявил благородство и покрыл чью-то финансовую операцию, приняв удар на себя. Если это так, то, заклинаю нашей старой дружбой, расскажи хотя бы мне всю правду.

Жду весточки,
твой друг Ли Холл».

24

«Дорогой Ли!

У меня просто-напросто нет слов, чтобы выразить тебе благодарность за участие в моей непутевой судьбе.

Если такое и было, что мне пришлось покрыть чью-то оплошность, то не стоит рассказывать об этом кому бы то ни было. Даже тебе. Ведь я мог покрыть своей подписью только очень хорошего человека. Согласен? А хороший человек, зная, в каком я оказался положении, должен был бы — по всем нормам человеческих отношений — прийти в суд и сказать всю правду. А он не пришел...

Представь себе, как я буду выглядеть в глазах всех, кто меня знает, если сейчас приползу в Остин на коленях и начну слезно топить другого человека?! Доказать все равно я ничего не смогу (банк живет по законам пиратства, а пираты тоже люди — есть среди них благородные и смелые, есть низкие трусы, трясущиеся за свое положение в мире, тут уж ничего не поделаешь), а лицо потеряю в глазах всех, кто меня знает.

Словом, положение таково, что не позавидуешь. Я смогу доказать людям свою невиновность только одним — литературой. Попавший в жернова судебного механизма не имеет надежды на Справедливость. Моя позиция однозначна: я утверждал, что ни в чем не виноват, но мне не поверили. Я настаивал на своей по-

зиции, тогда мне предлагали взять вину в халатности и расхлябанности — в этом случае сулили смягчение приговора, обещали посадить на скамью подсудимых вместе со мною всех руководителей банка, а это есть «коллективная ответственность», она не так позорна, однако я не подписал и такого рода сделку, ибо она противоречит нормам морали, которые я исповедую.

Итак, то, что знаю один я, недоказуемо, Ли. Есть Божий суд, и коли я виновен, если я лгу тебе, значит, Всевышний покарает меня самой страшной карой: творческим бесплодием, беспамятством, пыльной смертью под забором...

Пожалуйста, не пиши мне больше по прежнему адресу. Я сейчас подыскиваю новую квартиру, да и работу тоже, потому что прежний редактор в конце концов потребовал паспорт: он, чудак, хотел сделать добро, повысить меня по службе, сделав боссом всех репортеров. Ну, понятно, я назавтра пошел искать другую газету. Найду. Квартира, в которой я теперь обитаю, вполне удобна, правда, несколько шумновато, поэтому писать рассказы приходится в парке, на скамейках.

Судьбы людей, которые проходят у меня перед глазами, совершенно поразительны. Сосед по новой квартире, Эндрю Маккормик — великолепный художник, сын владельца фабрики в Детройте, обладает поразительным даром: он угадывает людей. Денежные тузы его города подвергли парня остракизму, перестали заказывать портреты, потому, что он писал характер, а характер — обязательно правда, то есть нелицеприятная честность.

Я делал репортажи о порте, познакомился там с капитаном; тот был в состоянии запойного опьянения, оттого что кто-то написал ему, что жена изменяет, да и вообще стала его подругой жизни из корысти.

Я пригласил Эндрю и предложил капитану показать художнику портрет жены. Тот долго рассматривал ее черты, а потом стал так рассказывать про эту женщину, что капитан протрезвел, расплакался и тут же заказал Эндрю сделать портрет любимой. Через три дня Эндрю получил еще пять заказов от портовиков. К нему повалил народ, а мне, как ты понимаешь, пришлось удалиться, чтобы не оказаться в фокусе повышенного интереса общественности. Что-то в последнее время я стал особенно остро ощущать спиною и кожей чужие взгляды. Когда это было у нас на границе, и мы были

вооружены, и рядом были ты и наши друзья, это не страшно, но, когда тебя гнетет одиночество, когда ты в бегах, бесправен и лишен права на защиту, ощущение, говоря честно, не из приятных.

Но, думаю я, это то самое настроение, от которого никто не застрахован. «И это пройдет!» Мудрость древних непроходяща, всегда надо верить в будущее, которое обязано быть прекрасным. Иначе жить незачем.

Остаюсь твоим другом
Биллом».

25

«Дорогой Камингс!

Я совершенно с тобою согласен. Во-первых. Надо реализовать наши акции «Силвер филдз». Через нью-йоркские банки. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Никаких связей с зарвавшимся «скотоводом». Во-вторых. Надо мягко порекомендовать бедолаге Бенджамину Во продумать те действия, которые дадут ему удовлетворение. Финансировать его работу согласится Эдвардс, который также точит зуб на «скотовода». В-третьих. Необходимо как можно скорее отыскать этого самого кассира. Чтобы «скотовод» не играл на том, что кое-кто в Вашингтоне покрывает те Директораты банков, которые работают по старинке.

Свяжись с Эдвардсом. Пусть его люди негласно присмотрятся к Во. Я не намерен забывать обид, которые мне были нанесены кем бы то ни было. А уж «скотоводами» — особенно.

Кинг».

26

«Дорогой Брат!

Пожалуйста, выручи меня в последний раз! Я прошу не за себя, клянусь честью, а за моего благодетеля! Он спас меня, когда я упал от голода на улице. Он продал свой уникальный английский костюм (желтый в коричневую клетку), в котором по вечерам выходил из ночлежки в город на заработки в редакции газет. Теперь он сам лишился куска хлеба, ибо его ковбойский комбинезон, в котором он работает на разгрузке судов,

порвался так, что из него торчит голое тело. Мы пробовали зашивать, но материал старый, нитки не держат, поэтому опасно ходить по улицам, могут захомутать фараоны, они здесь вдруг стали так ощериваться, что просто нет спасу.

Я не обещаю вернуть тебе двадцать баков сразу, но по частям, могу забойться, пришлю в течение пяти месяцев.

Остаюсь твоим старшим, непутевым, но любящим тебя Братом, Бартоломео Лифариди».

27

«Уважаемый мистер Б. Сидней!

Ваши рассказы, посланные в «Детройт фри пресс», были получены нами и отданы на прочтение квалифицированному литературному критику Джо Айвору Спаксу.

Возвращая Ваши рассказы, считаем своим долгом переслать заключение м-ра Спакса, которое, конечно же, поможет Вам в дальнейшей работе.

Примите и проч.

Склайв, литературный обозреватель.

Приложение: три рассказа и заключение м-ра Спакса.

«Рассказы, принадлежащие перу м-ра Б. Сиднея, произвели на меня довольно странное впечатление. Содной стороны, начинающий литератор, бесспорно, владеет пером. Сюжет дается ему без особого труда. Диалоги написаны изящно. Все вроде бы говорит за то, чтобы рекомендовать эти милые безделушки в печать, и тем не менее я воздерживаюсь от этого по следующим причинам:

1. Весь строй милых безделушек свидетельствует о том, что автор порхает по жизни, словно бабочка; его не заботят истинные трудности жизни, он не задумывается о серьезных проблемах, стоящих перед обществом, он безответствен. Хотелось бы посоветовать начинающему литератору понаблюдать за жизнью по-настоящему, а не со стороны.

2. Судя по прекрасной полотняной бумаге, на которой написаны рассказы м-ра Б. Сиднея, он принадлежит к тому слою общества, членам которого неведомо стра-

дание. Именно поэтому я и хочу порекомендовать автору обратиться в то издательство, которое напечатает его книгу за весьма небольшую плату, и честолюбие м-ра Б. Сиднея будет вполне удовлетворено, так как он сможет дарить «фолиант» своим поклонникам.

Читателям же «Детройт фри пресс» значительно более по душе проза, заставляющая думать.

Пусть молодой автор не прогневается за честность.

Айвор Спакс, эссеист, историк литературы и критик».

28

«Любимая!

Мои дела пошли как никогда хорошо! Я много пишу, рассылую рассказы по редакциям и жду ответов, чтобы порадовать тебя: «Мы победили, они взяли к печати новеллы, теперь заживем!»

Недавно я ужинал у одного капитана. Еда была вполне изысканная, стол сервирован серебром и хрусталем, давали «марикос» во льду и французское «шабли». Капитан долго распространялся о том, что стоит ему сойти на берег, получив пенсию от владельца компании, и он уж напишет романов и повестей о морском житье-бытье!

Мне было неловко возражать ему (только жестокий человек может рушить мечту, да еще тем более, когда мечтает хозяин стола), но в душе я не без горести подумал о том, как несправедлив мир к той профессии, которой я посвящаю жизнь!

Жажда писать — если, впрочем, таковая существует — пожирает человека, он готов быть голым и босым, только б иметь бумагу, перо, корку хлеба и кров над головою, чтобы записывать то, что является ему постоянно, только б не упустить слова героев, что слышатся ему, только б успеть сделать то, что вменено в обязанность сделать самим провидением, давшим чудный дар слагать слова во фразы.

Если человек в состоянии ждать пенсии, чтобы после этого начать литературное творчество, он ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах не напишет.

Все великие становились писателями в молодости, точнее, в юности. Возьми Шиллера, Тургенева, Мольера или Лопе де Вега. (Я, увы, никогда не стану великим, оттого что уже сравнялось тридцать три, возраст Иису-

са Христа, однако Он завершил свой путь по этой грешной земле в этом возрасте, а я еще ничего толком и не сделал.)

Всякая цивилизация, если она истинная, а не декларативная, обязана искать юношей, наделенных талантом, и поддерживать их творчество. Только тогда может случиться чудо открытия нового гения. Мне кажется (может, конечно, я не прав), что суетливые, озлобленные и запуганные люди дадут литературу, подобную их характерам. Но ведь это будет не литература, а пища для археологов, словно черепки чашек и золотые заколки скифских женщин... По такой «литературе» будущие исследователи станут с презрением судить обо всем обществе, его идеях, нравах и внутренних несовершенствах.

Любимая, ты давно не отправляла мне писем. Пожалуйста, расскажи подробно о себе, о Маргарет, запиши ее фразы, я очень люблю слушать ее голос, а ты так подробно приводишь слова нашей маленькой, что я сразу же вижу ее — всю целиком, будто она находится рядом.

Я не смею тебя просить ни о чем, но если бы ты смогла одолжить у добрых Рочей еще двадцать долларов, был бы тебе сердечно признателен.

Целую тебя.
Твой Билл».

29

«Дорогой доктор Якобсон!

Сердечно благодарю Вас за те советы, которые Вы дали после визита к Этол. Я обещаю Вам строго соблюдать предписания, которые Вы любезно изволили мне оставить. Но я знаю дочь лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому понимаю, что одни лекарства и диета не смогут помочь ей побороть врожденный недуг.

Известное Вам горе, незаслуженно обрушившееся на Этол, точит ее изнутри, и хотя она, как Вы имели возможность заметить, научилась владеть собою, мужественно сдерживает крайние проявления характера (увы, из-за болезни не всегда ровного), я опасаясь, что курс, предложенный Вами, не принесет облегчения.

Она тяжело переживает то, что лишена средств, хотя занимается рукоделием, подыскав достойных заказчиц,

и много времени проводит за пишушей машинкой. На все мои просьбы отдыхать Этол отвечает решительным и несколько раздраженным отказом: «Я должна сама зарабатывать на жизнь!»

Как нужно поступить, чтобы понудить ее оставить ненужную работу и большую часть дня проводить на веранде, под пледом?

По-моему, единственный человек, кого она послушается, это Вы, дорогой доктор Якобсон. На Вас у меня вся надежда.

С глубоким уважением
Ваша миссис Роч».

30

«Дорогая миссис Роч!

Обещаю сделать все, что в моих силах, дабы повлиять на Этол, хотя ее характер весьма сложен, что Вам известно лучше, чем мне.

Могу сказать со всей честностью, что легочные больные, особенно в ее состоянии, живут в мире иллюзорном. Главным лекарственным препаратом для них является Надежда, а панацеей, дающей возможность верить в благополучный исход недуга — иллюзия близкого свидания с тем, кого она любит и в кого безоговорочно верит.

В Нью-Йорке был случай, когда туберкулезная девочка загадала, что умрет в тот день, когда облетит последний лист на стене дома, куда выходило ее окно. Родители подрядили художника, и он нарисовал тот лист, и девочка пережила зиму, а весной у нее настало облегчение.

Но существует ли художник в той ситуации, с которой столкнулась несчастная Этол?

Ваш доктор Якобсон».

31

«Мой милый!

Ты не представляешь, как много радости доставляет всем наша Маргарет. Ее сердце, ум и такт восхищают меня с каждым днем все больше и больше. Я не успе-

ваю записывать ее новые фразы, так они курьезны и быстролетны. Она шутит, как ты, «между прочим», пробрасывая уморительные выражения с безучастным лицом. Когда я заливаюсь от смеха ее шуткам, она делает вид, что не понимает, отчего я так смеюсь.

Я много работаю. Заказы сыплются со всех сторон, и поэтому я, от себя ничего не отрывая, шлю тебе десять долларов. Они вполне могут тебе пригодиться.

Мое здоровье хорошо, как никогда. Я окрепла у мамы. Приступы легкого кашля кончились совершенно.

Пожалуйста, не волнуйся о нас. Делай то, что тебе надлежит. Докажи низким людям, что ты призван для того, чтобы писать прекрасные рассказы, а не сидеть в камере вместе с исчадиями ада, ворами, растратчиками и насильниками. Все те, кто знает тебя, по-прежнему убеждены в твоей совершенной невинности.

Вчера мне прислал записку милейший ветеран и основатель «Первого Национального» Майкл Ф. Смайли. Он молил меня срочно прийти к нему, в клинику доктора Якобсона. Почерк был ужасен, рука дрожала. Несмотря на легкий озноб, я отправилась к нему, но у него в палате уже находился священник. Старый Майкл умер тихо и внезапно для всех.

Я видела его раньше, помнила его грубоватым, лишенным сентиментальности, рубящим сплеча, и поэтому была удивлена стилем записки. «Я должен немедленно открыть Вам, моя несчастная Этол, нечто крайне важное. Это может изменить Вашу судьбу. Спешите!» Что он намеревался открыть мне, как ты думаешь?

Маргарет ждет не дождется приезда в город цирка. Представление обещает быть очень интересным. Все дети готовятся к празднику.

Как мы и уговорились, Маргарет было сказано, что папа находится в дальнем путешествии, но больше всего я боюсь, если кто-нибудь из жестоких людей расскажет своим детям или внукам правду. Что мне тогда говорить маденькой?

Милый, я считаю каждый час нашей разлуки и постоянно молюсь за тебя.

Твоя Этол.

«Любовь моя!

Это будет страшно, если кто-нибудь скажет Маргарет ужасную правду про ее беспутного отца. Заклинаю тебя сделать все, что можно, только б этого не случилось. Надо придумать так, чтобы девочка выходила в город только с тобою или с доброй миссис Роч, а в дом приглашать лишь внуков и детей верных друзей, которые умеют молчать и верить. Ты не можешь представить себе, какая это будет травма для маленькой, если ей скажут: «Твой папа — вор, он убежал из города, и его ищет полиция». Прошу тебя, сжигай все мои письма! Время летит безудержно, пройдет год-два, Маргарет научится читать, и представь только, что будет, если она увидит мои письма.

Родная, ты писала, что чувствуешь себя хорошо, но двумя абзацами ниже призналась, что шла к Майклу Ф. Смайли, несмотря на озноб. Отчего у тебя озноб? Ведь на улице так тепло... Ты что-то скрываешь от меня, я чувствую.

Этол, скажи правду: может быть, мне вернуться? Может быть, мне надо быть подле тебя сейчас, если ты ощущаешь озноб даже в жаркие дни? Будь что будет, я сделал много заготовок, я не все еще успел записать, потому что навык, ремесло приходят не сразу, но от рассказа к рассказу (даже те, которые я рву и сжигаю) я чувствую себя все более и более уверенным. У меня написано четыре вещи, а в голове отлилось еще двенадцать. Это уже книжка. Конечно, много чепухи и натяжек, но пара-тройка удачных фраз, пара любопытных характеров все же удались мне.

Каждый день я ощущаю, как перо все более и более послушно мне. Словно ученик плотника, я складываю бревна и перестаю бояться, что они, покосившись, осядут и покатаются наземь. Я никогда не думал, что навык имеет такое значение для профессионального литератора. Раньше, когда я получал свои сто баков в Банке, и приходил к тебе, и пил кофе, и любовался Маргарет, и сочинял ей сказки, а потом, уложив ее, отправлялся к столу, за работу, я был похож на самодовольного نابоба, уверенного в своей абсолютной правоте, всезнании и силе. Нет, делить себя нельзя, только занятие одним, главным и единственным делом может дать надежду на какой-то, пусть маленький, но все же успех.

Любимая, попроси наших добрых соседей узнать, не оставил ли Майкл Ф. Смайли для меня какого-нибудь письма? Или, может, он вызывал перед кончиной кого-либо из адвокатов, дружески к нам расположенных?

Целую тебя, моя нежность. Целую маленькую.

Твой Билл».

33

«Уважаемый мистер Сидней!

Литературное агентство «Макгиббон энд бразерз» поручило мне ознакомиться с рассказами, присланными Вами для продажи в журналы или газеты.

Я внимательно ознакомился с Вашими сочинениями, прочитал их дважды, сделал кое-какие заметки на полях карандашом (Вы вольны стереть их, карандаш был тонко заточен, грифель мягок) и решил написать Вам чисто человеческое, дружеское письмо, а не рецензию, которую вменено в обязанность сочинять литературным критикам.

Я долго не мог ответить самому себе на вопрос: во имя чего Вы пишете такие рассказы? Ведь даже Эдгар По, мастер добротного класса, поставил себя вне серьезной литературы тем, что на первый план выдвигал сюжет, интригу, захватывающую коллизию, но не характеры и проблемы. Неужели Вы хотите добиться легкого, а значит, кратковременного успеха у мало читающей публики? Но ведь она откладывает в сторону шедевры мировой литературы из-за их «сложности» и коротает время, пролистывая пухлые тома Александра Дюма или же короткие новеллы Мопассана. Тот ли уровень?!

Поверьте, легкий успех кружит голову, но какая гамма трагических переживаний ждет литератора, когда успех миновал и настало тяжелое время безвестности?!

Меня огорчило мелкотемье Ваших литературных опытов. Вы пытаетесь создать образы людей, которые исполнены благородства, честности и отваги. Много Вы таких видели на своем веку? Положа руку на сердце, признайтесь, что более всего Вам встречались такие типы, которые продадут за доллар, оставят в трудную минуту, отобьют любимую, помешают в бизнесе... Разве не коварство отличает значительное большинство рода

человеческого?! Представьте, что Вы построили прекрасный дом, открыли салун, к Вам идут люди, Вы хорошо зарабатываете, дело процветает... Но разве это будет радовать Ваших соседей? Разве Вам не придется завести пару злых собак, которые отгонят ночью тех, кто будет красться с галлоном керосина, чтобы превратить Ваш дом в пепелище?! Можете не отвечать мне на этот вопрос, но ответьте себе, мистер Сидней! Снимите с глаз розовые очки! Оборотитесь к правде жизни!

Видимо, у Вас нет детей, и поэтому Вы лишены чувства отцовской ответственности, которое подвигает литератора на то, чтобы писать ту правду, которая обнажает порок и показывает жизнь такую, какая она есть, — в назидание потомству. Чем более ярко и открыто Вы станете писать пороки общества, язвы, его разъедающие, чем честнее Вы ощутите безысходность, в которую поставлен маленький человек, тем будет лучше и для Вас, и для Ваших детей, когда Вы ими обзаведетесь.

Вы, видимо, коренной житель Нью-Йорка, поэтому зарисовки, сделанные в нашем городе, более или менее удачны. Но когда Вы начинаете живописать ковбоев, Дикий Запад, покорителей прерий, то сразу делается видно, что Вы там никогда не были, труд пастухов и объездчиков Вам неведом, Вы, простите меня, высасываете сюжеты и характеры из пальца... Отсюда — хандливость, литературное сюсюканье, желание ошеломить.

Я по роду своей литературной деятельности много читал о ковбоях: меня, как и многих, не может не интересовать история освоения Дикого Запада, и, право же, картинки, наскоро написанные очевидцами, кардинальным образом разнятся от того, что живописуете Вы, изобретая характеры сконструированные, никак не живые.

Я написал такое длинное письмо лишь потому, что обнаружил в Ваших работах некие элементы пера.

Вам, в случае если Вы станете много работать, наверняка удастся создать что-либо для печати. Однако послушайте моего совета, больше пробуйте себя в сказках для детей, в юмористических рассказах, но не замахивайтесь — во всяком случае, пока что — на серьезные темы. Они Вам не по плечу.

Не сердитесь за откровенность.

Энтони Мур,

Ответственный за работу с Молодыми Дарованиями».

«Дорогой Ли!

Что-то давно я не получал от тебя вестей! Уж не случилось ли чего? Пожалуйста, напиши о своем житье-бытье! Каждая весточка от Этол и тебя — высшее для меня счастье. Я заучиваю ваши письма наизусть, а потом сжигаю их, что, кстати, прошу и тебя делать с моими посланиями, ибо по штемпелю отправления вполне легко можно высчитать местонахождение адресата, во встрече с которым, «живым или мертвым», столь заинтересован сердитый дядя с бородкой клинышком, в высоком котелке и в звездном жилете.

В последние несколько дней мне пришлось сменить профессию и, вспомнив молодость, заняться землеустройством: во время дождей в порту заливает пакгаузы, где хранятся фрукты, вывозимые за грош из Латинской Америки; надо было прокопать канавы, но обязательно ночью, пока не налетели всякого рода администраторы из городских учреждений, чтобы составить чертежи, ведомости, сметы, расчеты, балансы и таким образом надолго остановить живое дело, поскольку согласовать длину, ширину и форму этих каналов следует по крайней мере с сорока тремя подразделениями. Государство делает все, чтобы изнутри разрушить само себя, и давно этого бы уже добилось, не живи в нашей стране смелые люди с инициативой. Руководители порта быстро подсчитали убыток, который понесут, направь дело по «законному» руслу, поняли, что вылетят в трубу, узнали, каким будет штраф, скалькулировали и это, а затем предложили голодранцам славно поработать ночами, установив тройную оплату за труд. Причем они сказали моей команде, что если мы сделаем работу не за неделю, а за три дня, то получим в два раза больше. Так что сейчас я держу в кармане тридцать зелененьких и чувствую себя Морганом-старшим. Эти деньги позволят мне совершенно спокойно писать по крайней мере две недели, не отрываясь от скамейки (нет, правда, в парках очень приятно работать, особенно когда много голубей и воробьев; про воробьев вообще надо сделать новеллу, очень занятные люди).

Один критик, кстати, сделал мне комплимент, возвратив мои рассказы с сопроводительным письмом, в котором хвалил нью-йоркские зарисовки, потому как,

сразу видно, что, мол, писал их житель этого города, хорошо его знающий. Как тебе известно, я видел Нью-Йорк только на фотографиях. Зато новеллы о нашем с тобою Диком Западе он назвал «вымыслом» человека, никогда не покидавшего пределы Пятой авеню.

Думаешь, я сдаюсь? Думаешь, это повергает меня в отчаяние? Ничуть. Даже наоборот. Я, конечно, несколько сатанею от того, что брюзжащие дяди получили право говорить от имени читателей и выставлять мне оценки по двенадцатибалльной системе, но, вероятно, именно в борьбе с монстрами и создается литератор. Считать, что путь к успеху выложен розовыми лепестками, — пустое дело. Да и потом, порою мне, неудачнику, начинает казаться, что литература — тот же бизнес, и та же конкуренция царит в ней, потому что победитель, пробившийся к читателю, имеет деньги, а тысячи его коллег, считающих себя такими же талантами, как и он, жуют корку хлеба и алчно одалживают доллары на то, чтобы пересылать из редакции в редакцию свои произведения.

Только вот что стало меня тревожить, дорогой Ли... Даже не знаю, как это точнее сказать... Мне подчас делается очень страшно за наших детей, оттого что рассказы и романы, которым дают жизнь старенькие эссеисты и юные литературные критики (или, наоборот, баррикадируют их), совершенно не есть то, чего так ждут читатели. Поверь, в данном случае я говорю не о себе, эссеисты меня не сломят, единственное, что может подкосить, так это виски, будь оно неладно:

Когда Эдисон приносит свое изобретение боссу, тот сразу же понимает, какую это даст выгоду обществу.

Когда Полина Виардо впервые спела в Париже свою арию, все осознали без спора: явилось Чудо.

Но сколько же мук приходится преодолевать литератору! Отчего так? Видимо, оттого, что далеко не каждый имеет абсолютный слух и пристрастие к диковинной формуле, зато каждый владеет словом, ибо грамоте учат в школах, любой может сложить слова в фразу, поэтому всякое новое видится обывателю искусственным и вызывающим.

Мне кажется, что истинная литература — это обязательно мечта о прекрасном, и чем активнее писатель навязывает эту мечту людям, тем больше у него может

быть последователей в мире. А разве много мечтателей живет на земле? Все больше трезвомыслящие.

Мне все чаще и чаще хочется сесть на корабль (а это здесь можно сделать, нанявшись палубным матросом) и да исчезнуть куда-нибудь подальше, честное слово! Хотя при этом я отдаю себе отчет в том, что хорошо бывает только там, где нас нет. И еще: человек всегда несет кару за перемену места. Кто-то хорошо сказал: «Все наши беды происходят из-за того, что мы не сумели остаться в своей комнате». Все верно, лучше не напишешь, но желание переменить комнату во мне крепнет день ото дня. И я по-прежнему чувствую на своем затылке чужие взгляды. И самое страшное заключено в том, что скорее всего мне это кажется, ибо я живу в выдуманном самим собою мире.

Обнимаю.

Билл».

35

«Уважаемый мистер Тимоти-Аустин!

Мы узнали, что Вы проявляете интерес не только к серебряным колям, но и ко вновь открытым залежам медной руды. Поскольку наши представители в Хьюстоне сообщили нам о том, как хорошо пошли дела «Силвер филдз» после того, как Вы выбросили на рынок акции этой начинающей компании, мы готовы предложить Вам приобрести за 100 тысяч долларов вновь открытые копи в Чинагата-Сити, что позволит Вам выбросить на биржу акции этого нового предприятия по крайней мере за 145 тысяч долларов.

В случае, если Вы заинтересуетесь нашим предложением, просим Вас обратиться к нашему представителю в «Чейз Манхэттэн» в Нью-Йорке м-ру Кларку, который пришлет Вам всю необходимую документацию.

Естественно, в случае, если Вы решите заключить такого рода сделку, мы предоставим гарантии через «Чейз Манхэттэн».

Примите, мистер Тимоти, уверения в нашем глубоком уважении,

Роберт Мак-Гиви и Фрэнклин А. Розен,
гарантированное оформление купчих на недвижимость».

«Уважаемый мистер Кларк!

Прошу Вас срочно выслать документацию на залежи медной руды в Чинагата-Сити, а также оформленные у нотариуса данные по кредитоспособности м-ра Р. Мак-Гиви и м-ра Ф. А. Розена.

С уважением, Филипп С. Тимоти-Аустин,
финансист».

«Дорогой Боб!

Судя по всему, рыбка заглотнула крючок! Однако максимум осторожности! Филипп такой парень, что может не ограничиться свидетельством нотариуса, а самолично прикатить в Нью-Йорк, как-никак сто тысяч баков, такие деньги не валяются на дороге.

Поэтому срочно дай Кларку деньги за аренду Бюро (внеси за месяц, потом слиняем) в здании, примыкающем к «Чейз Манхэттэн» и открой шикарную нотариальную контору в том же районе. При том, что он парень шустрый, в Нью-Йорке никогда не был, город его ошеломит, а ты еще найми Крисчена, который умеет изображать миллиардера, арендуй ему авто, двух лакеев, шофера и познакомь его с этим гадом, когда он туда пожалует.

Держи меня постоянно в курсе дела, оно того стоит. Я на пяток дней отъеду в Нью-Орлеан, там вроде бы летал «остинский голубь», недурно б поймать!

Р. С. Продолжай смотреть за Филиппом, за его контактами, поездками, письмами, это очень важно!

Твой Бенджамин Во».

«Уважаемый мистер Коулз!

Пересылаю Вам копию письма м-ра Во, адресованное им Бобу Имзу.

С уважением
Нигольс».

«Дорогой Эдвардс!

Покажи Камингсу письмо, полученное адвокатской конторой, обслуживающей мои интересы в горнорудном деле, от доверительного информатора по почте, перехватывающего корреспонденцию для нашего ознакомления.

Твой Питер Коулз».

«Мой дорогой мистер Камингс!

Пересылая переписку, связанную с «серебряным бизнесом», еще раз благодарю за тот совет, что Вы дали мне пару месяцев назад. Убежден, что м-р Во работает на совесть, причем он никогда не сможет нащупать ту цепь, которая связывает нас с Вами в надежнейшее содружество.

Если дела идут так, как он пишет Бобу (этот человек нанят третьими лицами по поручению моего Питера и сведен с ним), тогда можно надеяться, что «Силвер филдз» перейдет под наш контроль.

Привет тем, кому Вы сочтете нужным его передать!
Ваш Эдвардс».

«Уважаемый мистер Сидней!

Литературное агентство «Бель летр лимитэд» передало мне на рассмотрение присланные Вами рассказы.

Я внимательно с ними ознакомилась. Я не решилась рекомендовать их к распространению в газеты по целому ряду причин, но самые главные сводятся к тому, что Ваши герои в массе своей являются отбросами общества, а мы живем в такое время, когда потребны Добрые Символы, которым должно поклоняться. А литература обязана приближаться к проповеди. Мне кажется, что Ваши герои словно бы постоянно боятся, как бы им не стали задавать вопросы об их жизни. Они подобны разбитым колоколам, которые тем не менее страстно желают возвещать миру свой голос.

Мы все жаждем нового и чистого, но разве Ваши

«герои» — бродяги, игроки, воры — могут быть примером, чтобы следовать им в каждодневной жизни?! А порою вы излишне «щедрый», но ведь этого делать нельзя! Разве можно всегда писать «хорошие концы»? Как Господь готовил нас в своих проповедях к дню Страшного Суда, так и честный литератор обязан писать Правду, только Правду и ничего, кроме Правды!

Почему бы Вам не создать новеллы о незаметном подвиге миссионера, отдающего сердце своим диким подопечным? Об ученом, погибающем во имя того, чтобы жили другие? О капитане, который сходит с мостика и уплывает в бушующее море, после того как он принял все, что мог, дабы спасти корабль? Да разве мало в мире тем, которые по-настоящему волнуют читателя? А Вы просто-напросто берете на себя смелость выписывать безапелляционные рецепты на счастье. Разве это допустимо? То, что Вы прислали в наше агентство, страдает «сделанностью», поэтому читатель не станет тратить время на то, чтобы знакомиться с Вашими коллизиями.

Надеюсь, я Вас не очень огорчила своей прямоотой. Всего Вам лучшего,

Анна Бертрам, поэтесса и романистка».

42

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, перешли Этол этот мой рисунок. Она поймет, что руки, изображенные на нем, это наши с ней руки, а парусник — тот самый, на котором я сегодня отплываю в Гондурас. Я буду писать тебе оттуда прежним способом, через Уинни.

Твой Билл».

43

«Дорогой Харви!

Один мой друг попал в весьма обычный переплет: увидел хорошенькую простушку, которая пела в церкви, пригласил ее на пикник, ну, и ты сам понимаешь, чем это кончилось.

Два месяца встречи с красоткой доставляли ему приятную радость, но потом она ему сообщила радостную весть, что вскорости он станет папочкой.

Как следует поступать в таком случае? Откупиться? Дать содержание при условии ее переезда в другой город? Или гнать взащей?

Мой приятель (в отличие от нас с тобою) абсолютная тюфтя, совершенно лишен волевых качеств, но парень славный, надо ему помочь.

Дай, пожалуйста, квалифицированный совет, ибо слава о тебе как о юристе гражданского права дошла и до нас, провинциалов.

Желаю всего лучшего,

твой друг Филипп С. Тимоти-Аустин».

44

«Дорогой Филипп!

Передай своему другу, что право на рождение ребенка дает лишь брак, освященный церковью и зарегистрированный мэрией. Все остальное может быть квалифицировано лишь гнусным шантажом и вымогательством.

В случае, если твой друг поведет себя как тюфтя и даст девице денег, он признает этим факт отцовства. Тогда возможен процесс и всякие прочие словосотрясения. Толку она не добьется, но разговоры пойдут.

Так что я бы ни в коем случае не советовал давать девице содержание.

В случае, если твой друг тем не менее решит поступать так, как ему подсказывает сердце, я готов принять на себя защиту его интересов в суде.

Передавай привет всем тем из наших, кого видишь.

Кстати, Пит сделался главой фирмы, выпускающей препараты, которые могут прерывать беременность. Если хочешь, дай его адрес своему другу: «Питер Сибберс, дом 42, 6-я улица, Нью-Йорк».

Желаю тебе всего лучшего.

Харви Липп».

45

«Дорогой Ли!

Положительно я стал бояться сюжетов! Меня так часто поворачивали от ворот редакции, поскольку я слишком «сюжетен», что хочется написать какую-ни-

будь скучную историю, банальную до тошноты, привычную всем читателям: он — горемыка шахтер, она — падшая девица, но затем появляется молодой учитель, полный добрых идей. Происходит метаморфоза: падшая вновь обретает девственность и веру в свои права; шахтер, грешивший участием в забастовках, начинает посещать вечерние курсы для штрейкбрехеров, а добрый учитель получает приглашение в Итон, чтобы возглавить там кафедру Всеобщего Счастья.

Тем не менее сюжет, с которым я столкнулся, великолепен! В тот «город», где я теперь работаю в качестве «маэстро пор ля ирригасьон»* (диплом мне выдавали на корабле, главное, чтоб написали по-испански хорошим почерком, при этом необходимо много титулов, и чтобы обязательно слово «профессор»; картофельная печать вполне проходит), зашло судно, которое доставило сюда сорок ящиков с мужскими и женскими туфлями, всего в количестве тысячи штук. Американский консул Джон Замски, которому только-только исполнилось двадцать два года (он отправился сюда в добровольную ссылку после того, как поссорился с любимой), решил подшутить над ее женихом и отправил в родной город письмо (не от своего имени, конечно), что здесь все спят и видят обзавестись хорошей кожаной обувью. На три тысячи здешних жителей имеется всего две пары сапог: одна у губернатора сеньора дона Мигуэля Доменико-и-Агарре Караско, а вторая у нашего консула. Жара здесь такая, что обувь является обузой, ненавидимой как консулом Северо-Американских Штатов, так и губернатором, однако, «ноблэс оближ»**, этим двум приходится набивать мозоли, все остальные ликут, ходят себе босиком.

Консул умирал от смеха (на этот раз без помощи возлияния местной водки, а от всего сердца), ибо чувствовал себя отомщенным, так как он разорил соперника. Но он перестал смеяться и пришел в ужас, когда получил сопроводительное письмо, в котором его уведомляли, что приезжают к нему, дабы возглавить обувное дело, любимая с папой, а с соперником все конечно, в руке ему отказано, дом продан, все деньги вложены в ботинки, жди, целуем!

* «Маэстро пор ля ирригасьон» (исковерканный испанский) — «мастер по ирригации».

** «Ноблэс оближ» (франц.) — положение обязывает.

Поскольку я был здесь единственным американцем, «мистером Биллом Самни Уолтером», консул пригласил меня на ужин и спросил, какой револьвер лучше всего употребить в целях безболезненного самоубийства.

Я ответил, что лишь сорок пятый калибр гарантирует моментальный переход в Лучший Мир, однако я довольно подробно описал ему те минуты, которые предшествуют этому сладостному мигу. Во-первых, сказал я, надо купить эту пушку, а я не убежден, что во всем Гондурасе есть такое оружие — здесь сейчас мода на пулеметы, сорок пятый калибр кажется здешним военным, политикам, контрабандистам и торговцам дамской амуницией, совершенно недостойной истинного кабальеро. Во-вторых, продолжил я, необходимо (если случилось чудо и оружие попало вам в руки) написать прощальное письмо. В-третьих, следует вложить дуло в рот, ощутить зубами его масляный холод и отдать себе отчет в том, что сейчас палец нажмет на курок, но за мгновение перед тем, как все кончится, желтую массу мозга выбросит вместе с сахарными костями разmozженного черепа на траву (стену, пол, шкаф, это уже деталь).

Консул побледнел и спросил меня, что же в таком случае я прикажу ему делать. Я приказал ему думать. И начал думать сам.

Как ты догадываешься, «маэстро пор ля ирригасьон», то есть «мастер-наставник по делам ирригации», означает здесь профессию человека, который роет канавы, чтобы отводить воду в сезон дождей на поля «Юнайтед фрут», где деревья ломаются от бананов. Работа эта оплачивается довольно неплохо, тридцать центов в день. Поскольку хозяин дает койку, бесплатный завтрак, а обед и ужин стоят здесь десять центов, то на бумагу и чернила вполне хватает. Но когда мы копали канавы у тебя на ранчо — то было одно дело, а в тропиках — это совершенно иной вид занятий, уж поверь мне. Так что думать о башмаках любимой консула во время сорокаградусной жары, когда машешь кайлом, согласишься, довольно трудно. И я предложил консулу оплатить мой вынужденный прогул, предоставить мне комнату в его доме и бесплатное питание, а я взамен пообещал хорошенько подумать, чтобы решить вопрос с этими проклятыми башмаками, не прибегая к помощи револьвера сорок пятого калибра.

Консул обнял меня и прослезился, что меня весьма насторожило.

Словом, впервые за четыре недели я спал в гамаке, не терзаемый укусами гадов, под марлевым балдахином; на завтрак давали не бурду, именуемую чаем, по кофе и тостики, к обеду готовили бульон и отбивную, а не зеленые бананы, а про ужин я и не говорю!

Первый день я блаженствовал, лежа в гамаке. Второй день хотел провести так же, но заметил тревожный взгляд консула и понял, что, несмотря на двадцать два года, Итон наложил на него печать администратора, который считает работой лишь видимое ее проявление. Я был вынужден сесть к столу и показать несчастному, как я думаю. Это можно сделать лишь однозначно: взять перо, бумагу и начать писать. Хотя одно слово «дурак», но только б водить пером. Значит, работа идет, а если так, то все будет в порядке.

На третий день я спросил себя: а что же придумать-то? Положение ведь действительно безвыходное!

И я сказал себе: «Придумай новеллу! Ведь ты умеешь вертеть сюжет? Умеешь! Ну-ка! Есть тема: «Как сбыть башмаки там, где они не нужны?» Вот и фантазируй!» И я легко написал рассказ, который по прочтении показался мне — в отличие от «эссеистов и литературных критиков» — вполне реальным, а не «сконструированным».

Итак, не позволив консулу надрызгаться в тот вечер, я повел его на берег, в заросли, усыпанные колючками. Всю ночь консул Соединенных Штатов и беглый каторжник набивали этими колючками мешки и сносили их в подсобное помещение. А наутро консул открыл магазин, и это заметили все, потому что я нарисовал огромную вывеску, на которой был изображен ботинок и человек, напоротившийся голой пяткой на шип.

Аборигены пришли подлюбопытствовать, что это такое — «ботас»*, примеряли их на руки, очень потешались, но не приобрели ни одной пары.

Следующей ночью консул Соединенных Штатов и беглый каторжник насыпали у дверей домов на центральной улице припасенные накануне колючки, особенно много пришлось поработать на рыночной площади.

О, какой вой раздавался на улицах нашего городка

* «Ботас» (исп.) — ботинки.

в то утро, слышал бы ты, дорогой Ли! Так воют львы, попавшие в капканы, или жены, заставшие мужей в объятиях актрис кордебалета с плоскими животами и подведенными ресницами.

Словом, к вечеру было продано восемьдесят четыре пары!

Как гиены, мы ждали ночи, и снова рвали свои тела и руки в зарослях, собирая колючки, и это принесло свои плоды: через три дня вся партия товара была реализована, барыш составил двести семнадцать долларов. Консул до того возликовал, что отвалил мне семнадцать долларов и предложил принять на себя бремя представительства интересов Соединенных Штатов в Гондурасе после того, как прибудет любимая с папой и они возьмут монополию на продажу обуви во всей Латинской Америке.

Мне пришлось заполнить документы на имя «Билла Самни Уолтера», которые консул предложил мне самому отправить в государственный департамент, а сам ушел в подготовку встречи любимой, причем протелеграфировал им, чтобы они привезли с собою еще две тысячи пар обуви.

Так что пока я консул. Документы, как понимаешь, отправлять не тороплюсь, лежу в гамаке, придумываю рассказы, потом сажусь к столу и записываю их.

В седьмом по счету отказе, который я получил от одной из газет, очередная «эссеистка, поэтесса и романистка» сердечно советовала мне не торопиться, «тщательно отделять каждую вещь, словно алмаз». Я не удержался и впервые в жизни ответил ей, сказав, что зависть — плохое качество, и если она вымучивает свои произведения, то мне доставляет высшую радость писать их быстро, ибо я вижу на стене все происходящее с моими героями, слышу их голоса, сострадаю их слезам, смеюсь, когда они смеются, только не плачу с ними, потому что не умею. К сожалению, времени на отделку не остается, потому что я не «делаю вещь», а просто-напросто живу вместе с моими героями. Они — это я, я — это все они.

Но я действительно стал бояться сюжетов! Поэтому я не пишу рассказ про то, как бежавший из-под суда преступник сделался консулом Соединенных Штатов. Это же «нереально, искусственно и сделано только для того, чтобы вызвать смех у мало читающей, а потому плохо подготовленной публики». Тьфу!

Но ты чувствуешь, как я повеселел, Ли?! Может, ты хочешь вложить деньги в фирму по продаже в Гондурасе русских соболей? Или калориферов для обогрева хижин во время зимних холодов, когда ночная температура падает до двадцати семи градусов жары, что местным жителям кажется арктическим холодом! Напиши, я дам тебе полезные советы, со мной не пропадешь!

Жду весточек. Пиши не таясь: Гондурас, Консулу Соединенных Штатов! Доставят в опечатанном мешке с дипломатической почтой под расписку!

Твой друг Билл».

46

«Дорогой мистер Холл!

Зная Ваши дружеские отношения с моим зятем, я осмеливаюсь написать Вам это письмо.

К обычным отказам и он, и все мы давно привыкли, но этот поставил меня в тупик. К сожалению, я не могу посоветоваться с моей дочерью Этол, ибо ее здоровье ухудшается с каждым днем. Врачи считают, что туберкулез вступает в свою страшную, разрушительную, неизлечимую фазу.

Боюсь, что очередной отказ произведет на нее такое угнетающее впечатление, что трудно будет предсказать последствия.

Думаю, что Вам, человеку, который его знает с юности, лучше решить, можно ли переслать Биллу этот отзыв.

Примите, милостивый государь, мои дружеские приветы,

миссис Роч.

P. S. Приложение: письмо м-ра Уолта Порча на двух страницах.

«Уважаемый мистер Сидней!

Рассказы, переданные мне литературным агентством «Нью Ворд», я прочитал залпом. Хочу от души поздравить Вас с тем, что труднее всего достижимо в литературе, а именно с прекрасным навыком ремесла.

Но я не могу рекомендовать Ваши рассказы к печати, оттого что не буду понят моими работодателями.

Рынок сегодняшней литературы строится по закону аналогов, уважаемый мистер Сидней. Все газеты и журналы хотят быть похожими друг на друга в глав-

ном: во-первых, конец новеллы должен быть либо благополучным, либо шокирующе-кровавым, однако и в первом и во втором случае зло обязано быть наказанным, а добродетель, несмотря на все трудности, не может не восторжествовать. Во-вторых, читателя не интересует интеллект писателя. Чем проще Вы пишете, чем ниже опускаетесь до его уровня, тем он охотнее Вас читает. Вы же ошеломляете блеском остроумия, горьким юмором и доброй снисходительностью. Критика еще не готова к литературе, подобной Вашей, мистер Сидней, Вас просто-напросто не поймут, а за это растопчут. Все, что непонятно, обязано быть унижено и ошельмовано. Если бы Вы были писателем, желательно европейским, с именем, то критика (а следом за нею и доверчивый читатель) стала бы возносить Вас до небес, называя автором «нового стиля». Вас бы исследовали, приписывали то, о чем Вы никогда и не думали, ставили бы в пример нашим литераторам, всячески расточая похвалы. Вы же, к сожалению, рождены американцем, а и на нашу страну распространяется библейское «нет пророка в отечестве своем».

Я бы не хотел, чтобы это письмо стало известно кому бы то ни было в нашем литературном агентстве. Увы, наш цех живет по закону пауков в банке. Хозяин нашего предприятия привык к известным сюжетам: хорошая девушка (сестра милосердия, учительница, стенографистка) знакомится с сыном банкира, бездельником и бонвиваном. Ее идеи, рожденные неукоснительным следованием Библии, производят в душе молодого человека переворот, он начинает учиться, работать и делает взнос в пользу бедных. Свадьба. Рождение ребенка. Счастье. Или же: плохой инженер ленив и чурается труда. Его друг, наоборот, проводит дни и ночи в библиотеках. Появляется девушка. Оба влюбляются в нее, но она отдает предпочтение работающему инженеру. Бывший лентяй после этого шока погружается в науку и делает изобретение века. Или: пропала старинная карта со схемой золотого месторождения. Ее ищут разные люди, но находит самый достойный, обязательно бедняк, который при этом поет в церковном хоре. А вы? Пишете про умных оборванцев с чистыми сердцами. Или про бандитов, которые вынуждены братья за кольт оттого, что общество не позволяет им заработать деньги законно. Нет, такое у нас не примут нигде, мистер Сидней, поверьте волку от литературы, который

когда-то печатал свои рассказы, норовил дотянуться до правды, да только на этом ноги поломал, ибо не каждому дано счастье утвердить Правду в своем творчестве. Для этого нужно время, похлебка, кровать и фанатическая убежденность в своем призвании.

Иногда мне кажется, что нигде так хорошо не напишется твоя главная книга, как в госпитале или тюрьме, когда здоровье или же общество лишило тебя жестокой надобности заботиться о хлебе насущном для матери, сестер, жены и детей.

Я поймал себя на мысли, мистер Сидней, что мне было бы приятно, начни Вы прикладываться к бутылке, получив мой отзыв. Значит, будет одним меньше! Закон литературы — это закон не только скорпионов в банке, но и волков в лесу, каждый отсек которого должен быть закреплен за одним лишь, остальным вход воспрещен, за нарушение — смерть!

Мистер Сидней, Вы талантливый и совестливый человек, поэтому вряд ли Вы пробьетесь в нашу нынешнюю литературу, где царствует мелюзга, серость и приспособление. Время выдвижения идей кончилось, настала пора тишины, когда каждый тихо сидит в норе и ждет своего часа. Каждое столетие кончается так, только так и никак иначе.

Я завоевал себе право на то, чтобы писать отзывы на рассказы, получаемые редакцией по почте (те, которые редактору передают именитые, сразу же идут в типографию). Это дает мне двадцать долларов в неделю. Я не намерен их терять, рекомендуя Ваши рассказы к печати.

Если же Вы напишете так, как пишут остальные, и пришлете мне, минуя агентство, я сделаю все, чтобы рассказы были опубликованы. Даю Слово.

Уолт Р. Порч,
литератор

25-я улица, пансионат «Вирджиния», Нью-Йорк».

«Дорогая миссис Роч!

Пожалуйста, передайте мой привет и пожелание скорейшего выздоровления бедняжке Этол. Пусть она не верит врачам, а побольше пьет козьего молока!

Дела Билла идут хорошо, он просил передать Вам свою любовь и нежность.

Что же касается послания Уолта Р. Порча, то я его сжег.

Ваш
Ли Холл».

48

«Дорогой Билл!

Сердечно благодарен за письмо. Я очень рад, что твои дела идут так хорошо.

С твоей легкой руки и мои дела пошли отменно, я получил двенадцать новых заказов на портреты и заработал без малого тысячу баков, так что если тебе нужно взять в долг (проценты вполне пристойны, всего три за год), могу выслать тебе, коли только в твоём Гондурасе существует почта.

Не скрою, лишь три вещи я писал с удовольствием, не насилуя себя: это был капитан Самнэй Грэйвс с «Капитолия», невероятно славный человек, бесребреник и убежденный холостяк, знающий наизусть «Декамерон», потом начальник порта, который давал нам работу, и, наконец, как это ни странно, редактор той газеты, откуда тебе пришлось уйти.

Я как бы между прочим спросил, в чем дело, почему он позволил уйти такому талантливому и доброму парню, как ты. Под большим секретом редактор сообщил, что тобою интересовалась полиция, а некто из Хьюстона и Остина (но не полиция) пытались в частном порядке выяснить, не подвизается ли в газетах Нового Орлеана «рыжеволосый, голубоглазый, крепкого телосложения, отличающийся прекрасными манерами человек, весьма тщательно следящий за своим внешним видом, молчаливый, сторонящийся компаний и весьма острый на шутку в кругу хороших знакомых».

Наверное, я огорчу тебя этим сообщением, но лучше пусть ты узнаешь, что за тобою охотятся, от меня, чем от других.

...Не можешь себе представить, как мне было тошно делать остальные девять портретов! Брат губернатора отказался мне позировать, но прислал фотографию, на которой он изображен двадцатилетним красавцем. Ныне ему пятьдесят семь, но он хочет, чтобы черты его лица

были моложавыми, никакой седины и морщин. От него дважды приезжал секретарь и долго рассматривал мой рисунок. Потом он привел мастера по фотографии, тот сделал снимок с рисунка, а через два дня мне его вернули с «правкой», сделанной чертовым братцем губернатора. Он подрисовал себе глаза, сделав их огромными, как у совы, уменьшил рот и прочертил морщину мыслителя между бровями. На словах же секретарь попросил удлинить холст, чтобы уместились руки, сложенные на груди по-наполеоновски и чтобы на безымянном пальце был тщательно нарисован бриллиант в один карат, с синими высверками.

Сначала я хотел ударить холстом по секретарской голове, но подумал, что бедолага ни в чем не виноват, он совестился глядеть мне в глаза, и щеки у него пунцовели от стыда за своего босса, но кушать-то хочется, ничего не поделаешь. Потом подумал, что откажись я от этой мазни, и снова начнется голод, ночлежки, скитания, а встречу ли я еще раз Билла Сиднея Портера, который умеет спасти тех, кто попал в беду?! Вряд ли. Я и дописал портрет этого остолопа, бриллиант намалевал в три карата, глазоньки сделал громадными, орлиными; разлет бровей как у герцога Мальборо, а рот волевым и одновременно скорбно-улыбчивым.

Очень понравилось.

А я убежден, что он аферист и рано или поздно его посадят в тюрьму за жульничество, однако оно будет таким крупным, что его сразу же выпустят, потому что наши тюрьмы приспособлены для несчастных маленьких пройдох, а крупные так срослись с капитолийским холмом, что скандал в штате немедленно аукнется в столице, что, как ты понимаешь, недопустимо.

Деньги, полученные от красавца, я употребил на то, чтобы уплатить за тот чердак, где оборудовал мастерскую, приобрести краски и кисти. Потом я целый месяц делал пейзажи, о которых бредил последние три года, но их никто не покупает, оттого что я не так тщательно выписываю листья пальм, как этого бы хотелось здешним ценителям прекрасного.

Я был счастлив, когда писал пейзажи. Они понравились тебе, я надеюсь.

Сейчас я малюю портрет жены мэра. Кикимора. Сначала сказала, какой она должна быть: «Глаза скорбные, рот чувственный, кожа матовая, но ни в коем случае не изображайте веснушки». Кстати, веснушки —

это единственно милое, что в ней есть. Потом потребовала, чтобы глаза были голубыми, а они у нее кошачьи. Все хотят видеть в своих портретах то, что им кажется красивым, а ты понимаешь, каковы их представления о красоте!

Что мне делать?

Буду рад получить от тебя хоть маленькую весточку.

Твой друг, вечно преданный тебе
художник Эндрю».

49

«Дорогая Дора!

Мне позволили написать тебе из полиции, куда я попала после того, как подошла на улице к Филиппу Тимоти-Аустину и попросила его дать немного денег для нашего новорожденного сына.

Я объяснила ему, что мальчик болен, а мои сбережения кончились. Я ни разу не просила и не прошу его ни о чем. Я молила только, чтобы он оплатил счета за доктора и лекарства, иначе малютка может погибнуть.

Я объяснила ему, что я — южанка, поэтому и мать и сестра отказались от меня, считая, что я покрыла их позором. Средств никаких, помощи ждать не от кого.

Филипп же позвал полицейского и сказал, что я попрошайничаю и шантажирую его.

Так что будет суд. Умоляю тебя, родная Дора, сделай что-нибудь для маленького Филиппа! Не бросай его! Я вернусь, устроюсь в хор и верну тебе все деньги, которые ты на него истратишь. Больше всего я боюсь, если маленький попадет в приют. Ведь никто, кроме матери, не сможет понять, что у него болит. Ты была так добра ко мне, любезная Дора, только благодаря тебе я не погибла, поэтому прояви, молю тебя, божью милость и спаси маленького!

Я так плачу, что у меня распухло лицо, и голос от этого стал хриплым. А ведь это мой хлеб, что же мне делать?!

Скорее бы суд! Я верю в справедливость тех людей, которые призваны стоять на страже закона!

Дорогая Дора, все мои надежды я возлагаю на тебя.
Преданная тебе и благодарная
Салли Кэльстон».

«Дорогой Эндрю!

Если ты хочешь заработать десять тысяч баков сразу, отложи работу над веснушчатой ведьмой и приезжай ко мне.

Дело в том, что секретарем у местного диктатора (он же президент, единогласно «выбранный» народом после расстрела всех соперников и захвата войсками почты, банка и порта) служит наш хитрющий соплеменник. Он-то и рассказал мне, что его босс провел через кабинет министров решение об увековечении его памяти. Он хочет, чтобы благодарный народ Гондураса в каждом городе и селении имел перед глазами его образ, выполненный лучшими художниками мира.

Будучи человеком скромным, отдающим все свои силы делу служения несчастному народу, диктатор полагает возможным видеть себя на портрете вместе с Вашингтоном, Линкольном и Лафайетом. Три эти человека должны стоять у него за спиной и смотреть на его лысину с нежными улыбками. Он же, в мундире, расшитом золотом, и с сорока тремя крестами на груди, с муаровой лентой через плечо и при серебряных погонах, будет восседать на полутроне, протягивая подданным «Хартию вольностей».

Я понимаю, что тебе придется завязать свой норов жгутом, но ведь десять тысяч долларов (а он их уплатит сразу же — не из своего кармана, а из государственной казны, подданные так хотят видеть на каждом углу изображение несравненного избранника) дадут тебе возможность писать после этого все то, что ты хочешь.

Я бы не решился внести тебе это предложение, но я всегда стараюсь представить, согласился бы я на то или иное дело, не помешало бы оно мне смотреть на свое изображение в зеркале без презрительного содрогания, и я ответил себе, что нет, не помешало бы.

Право, если бы он уплатил мне десять тысяч баков и предложил написать историю его героической жизни, отданной во благо народа, я бы согласился, потому что деньги, вырученные от этой белиберды, я бы обратил на то, чтобы написать Правду.

Так или иначе этого идиота погонят, здесь это происходит довольно часто, книги о нем сожгут, портреты порвут или изрежут на куски, а вот то, что ты сможешь

нарисовать на его деньги, останется для человечества навечно.

Подумай над моим предложением.

Жду ответа, дорогой художник Эндрю.

Твой Билл Сидней Портер».

51

«Дорогая и любимая Салли!

Наберись мужества, несчастная девочка! Вознеси свои мольбы к Всевышнему! Я продала свое кольцо и уплатила за визит доктора. Аптекарь поверил мне в долг, дав те лекарства, которые были нужны для твоего крошки, но болезнь зашла слишком далеко.

Такие создания, как маленький Филипп, попадают в рай, где птицы и благоухающие кущи, где вечное спокойствие и справедливость, дорогая Салли!

Помолись о его душе, он услышит тебя!

Твоя Дора».

52

«Дорогой Ли!

Если я скажу тебе, что я невезун, то это будет половиной правды, даже ее четвертью. На конкурсе невезунов всего мира я бы занял второе место, такой я невезун! Суди сам: помнишь, я писал тебе об одном моем знакомце, художнике Эндрю? Так вот, я придумал грандиозный бизнес: поскольку здешние диктаторы, они же президенты, они же премьеры, они же главнокомандующие, они же отцы, дяди и дедушки нации, они же корифеи науки и искусства, они же меценаты (за счет государственной казны), выдающиеся ценители прекрасного и большие скромники, то как им не согласиться с просьбами граждан и не увековечить свой образ? Я вызвал сюда Эндрю, прозондировав почву перед этим в кругах, близких к «отцу нации», и договорился, что он сделает портрет образины за десять тысяч баков (краски, холст и рама, естественно, за счет диктатора).

Эндрю приехал, я отвел его к заместителю помощника президента (как ты догадываешься, это наш человек, делающий свой бизнес на том, что расторговывает здешние земли Морганам и Рокфеллерам по дешевке),

тот представил североамериканскую звезду «отцу нации», обговорили, каким должен быть портрет, ударили по рукам, начали работу, бедняга Эндрю начал попивать, оттого что ему пришлось из Люцифера делать апостола Павла, я понимал его страдания, нет ничего ужаснее, чем насиловать кисть, никто так не боится ошейника, как художник, однако дело есть дело, помучившись неделю, можно обеспечить себе три года прекрасной творческой жизни.

Я сделал для Эндрю эскиз, объяснил ему, чего хочет здешний болван в золоте, дело пошло, но в день окончания работы мой художник возвратился домой с безумными глазами. Я поинтересовался, где золото (по условию договора, я должен был получить две с половиной тысячи баков, чтобы вернуть мои долги мужу миссис Роч и тебе), он отвечает «ха-ха», потом падает в истерику и рассказывает, что порезал картину, потому что лучше жить в нищете, чем изображать пророком гада и тирана.

Что на это скажешь?!

Розог у меня под рукой не оказалось, художник попрежнему плакал, как ребенок, клял тиранов, просил дать ему кольт, чтобы он пристрелил президента и освободил народ несчастного Гондураса от рабства, а я горестно думал про то, что бизнес не моя стихия. В конце концов я впал в черную меланхолию, но несчастного художника ругать не стал, оттого что понимал его изначальную правоту. (Но попробуй заставь меня написать об этом рассказ с плохим концом! Не выйдет. Надо быть бессердечным и холодным дельцом от литературы, чтобы безжалостно отбирать у несчастных Надежду. Если человеку дано перо, так ведь оно дано не случайно и не зря! Значит, я должен служить Благу, а не Злу, Вере, а не Безысходности! И еще: надо быть богатым человеком с безупречной репутацией, чтобы позволять себе Жестокость по отношению к читателю.) Я то и дело вспоминаю Гёте, который утверждал, что быть одаренным человеком совершенно недостаточно. Чтоб набраться ума, нужно очень многое: жить в достатке, уметь заглядывать в карты тех, кто ведет игру, да и самому постоянно быть готовым к большому выигрышу. (Впрочем, такому же проигрышу — тоже.)

Я был совершенно потрясен, когда этот мудрец рассказал, что он истратил полмиллиона личного состояния, чтобы узнать то, что он узнал; на это же ушло отцов-

ское состояние и все литературные доходы за пятьдесят лет, а это были не мои шесть долларов, а десятки, сотни тысяч золотом. Да еще владельцы особы вложили в его ум не менее полумиллиона. Общество, которое не поддерживает своих творцов, не заботится о памяти потомков. А это чревато не чем иным, как умиранием патриотизма.

Если Гёте уму-разуму учили влиятельные особы и опирался он на свои гонорары и наследство папы, то меня этому же учит жизнь. Он состоялся на изучении природы. Я согласен с ним, что ни одна другая область знаний не позволяет столь пристально проследить за чистотой созерцания и логичностью помыслов, заблуждениями чувств и рассудка, за слабостью характера или его силой. Действительно, природа не позволяет шутить с собою тем, кто кладет жизнь на ее познание. Но поскольку человек есть дитя природы, ее часть, то моими учителями стали именно люди, рискнувшие жить отдельно от природы, бросившие ей вызов, и хотя действительно природа всегда права, а люди отнюдь нет, хотя природа более поддается сильному духом и последовательному, а вялому, нерешительному, праздному жестоко мстит, но весь мир составлен не только из тех, кто является образом и подобием Божьим. Кто же в таком случае займется париями мира, бедолагами, имя которым легион?!

Да, кстати, торговля ботинками тоже прогорела. Приезжал ловкий парень из Чикаго, который привез не тяжелую обувь, а легонькие башмачки, насквозь продуваемые ветром, ноги не потеют, к нему стоят очереди, но идею с колючками он мне оплатить не хочет, хотя, как и любой член американской колонии в Гондурасе, знает, что это мой патент. Не обратиться ли в Верховный суд?!

Эрго: холст с изображением царственного ублюдка изрезан. Художник ходит по набережной и тоскливо смотрит на яхты, стоящие на рейде; капитаны его не берут на борт матросом из-за неуживчивости характера.

В магазин обуви меня не пускают.

В должности консула не утвердили, запросив имена родителей и сведения о последнем месте службы в государственном учреждении. Представляешь, как они обрадуются, когда я пришлю им просимые данные.

У меня остался единственный выход: примкнуть к здешнему антиправительственному тайному обществу,

О том, что готовится очередной переворот, весьма оживленно говорят в тавернах и кофейнях. Вообще здесь всегда весьма широко готовятся к переменам. Поскольку тут ценится умение стрелять (а ты знаешь, как я в этом силен), отчаянность в гонке на плохо обьеженных конях в горных ущельях (тоже могу) и умение петь песни под гитару, то я весьма внимательно изучаю вопрос о том, чтобы возглавить бунтовщиков. Если мы победим, я стану первым советником нового президента и останусь им, покуда он не объявит себя «отцом нации», «корифеем» и «продолжателем дела Колумба и Вашингтона».

Пока же, поскольку бананы и кокосовые орехи здесь бесплатны, особого голода я не испытываю. Один наш соплеменник привез пятнадцать граммофонов. Думает, как их сбыть. Предложил мне стать коммивояжером, дает десять процентов с каждого проданного агрегата. Я согласился, но, думаю, ничего из этого не получится, потому что, действительно, если уж родился неудачником, то от этого качества не так просто избавиться.

Тем не менее через два года, шесть месяцев и три дня я вернусь домой совершенно свободным человеком, и ожидание этого момента делает вкус кокосовых орехов невыразимо сладким.

Твой Билл».

53

«Любимая!

Как я скучаю без тебя и без нашей Маргарет!

Пиши мне подробней про нее и про себя! Я ведь не просто читаю твои письма, я прямо-таки припадаю к ним, как к живительному роднику Памяти.

Считаешь ли ты дни, оставшиеся до встречи? Утром и вечером?

Как поживает великодушная миссис Роч? Пожалуйста, передай от меня самый искренний привет мистеру Рочу и поблагодари за его доброту. Ему воздастся сторицей; безнаказанными бывают только жестокость и коварство. Доброта рано или поздно возвращается прекрасным Рождественским бумерангом.

Мои дела идут прекрасно, я много пишу, работаю, полон всякого рода планов.

Жизнь свела меня с любопытной личностью, Элом Дженнингсом, и его братом Фрэнком. Они, как и я, вы-

нуждены отсиживаться на чужбине, но разница между нами в том, что они прибыли с тридцатью тысячами долларов, позаимствованными в кассе банка при помощи кольтов, поэтому сидеть им здесь придется всю жизнь.

Эл Дженнингс — дитя трагедии, порожденной гражданской войной. Южане, они бросили свое поместье, мать умерла, отец начал пить, мальчик сбежал из дома, не в силах вынести позора (как это похоже на мою трагедию). Все, что произошло с ним потом, тоже напоминает мою жизнь: бродяжничество, работа на ранчо... Встреча с тобою спасла меня, но к нему бог был суров, он не послал ему подруги, Эл убил зверя-надсмотрщика на плантации, но его отец, излечившийся к тому времени от пьянства, вытащил его за огромные деньги из тюрьмы, увез на родину, заставил учиться праву и сделал адвокатом. Но там Эл столкнулся с нашим диким беззаконием — преступников в его городе возглавлял не кто-нибудь, но сам шериф. Дело кончилось перестрелкой, Эл и его старший брат Джон были ранены, Эл чудом спас Джона от суда Линча, пришлось ему второй раз убежать из дома, вместе с младшим братом Фрэнком.

Так он и оказался здесь. Я заслушиваюсь его историями о том, что ему пришлось пережить в те годы, когда он наводил ужас на своих врагов.

Запасы моих сюжетов пополняются день ото дня, люди, подобные Элу, — чистый клад для писателя, в его судьбе — судьбы тысяч, всех тех, кто лишен права на Право.

Родная, был бы тебе бесконечно признателен, если бы ты смогла переслать отцу Эла Дженнингса письмо, которое я вложил в конверт. Он не решается написать ему, опасаясь, что федеральная полиция узнает место его нынешнего пребывания.

Я обожаю тебя и мечтаю поскорее тебя увидеть. Целуй Маргарет.

Твой Билл».

«Дорогой Ли!

Жизнь развивается по спирали, тысячу раз прав мудрый Кювье!

Помнишь прекрасную испанку Тонью, которая пыта-

лась избавиться от Малыша? Помнишь, как ее подставил под пулю нашего лейтенанта этот маленький бандюга? Тогда ты наверняка должен был помнить и ее младшую сестру, рыжеволосую голубоглазую красавицу тринадцати лет от роду с таким поразительным лицом, что, встретивши один раз, ты ее никогда не сможешь забыть. Я отчего-то полагал, что жизнь сломала и ее, нрав Малыша мне известен, уж если мстить, то всем родным, но месяц назад я встретил ее и Малыша в Мексике, в отеле «Республика», и был совершенно потрясен этим. Никак не думал, что она сразу же вспомнит меня! Тринадцать лет прошло с того дня, как погибла ее сестра!

Все случившееся потом могло бы стать сюжетом для новеллы, если бы не концовка, которая представляется мне несколько театрализованной из-за ее излишней драматичности.

Словом, думаю, что Малыш больше не будет бесчинствовать в твоих краях, пусть люди живут спокойно, его кровавым налетам, как мне представляется возможным считать, положен конец.

Поскольку я не имею никаких сведений об Этол и Маргарет, потому что последние месяцы пришлось много путешествовать, прошу тебя выяснить, что происходит в Остине, и честно написать обо всем в Сан-Антонио, пансионат «Эсперанса» для Джона Спенсера Росса.

Пожалуйста, передай Этол, что я отправил ей уже семь писем и очень страдаю, не получив от нее ни одного. Все ли там в порядке? Как ее здоровье?

Передай ей, что мои дела идут хорошо, я много работаю над заготовками к новеллам, успел посмотреть множество интересных мест и повстречался с весьма колоритными людьми.

Жду!

Твой Билл».

«Хэй, Джонни!

Что новенького? Продолжаешь защищать от электрического стула старых мошенников? Как Па? Что интересного в нашем бандитском городе?

Мы с Фрэнком в полном порядке. Путешествуем, смотрим мир и показываем себя, пусть людишки любуются Дженнингсами, такое не часто увидишь.

В Мексику мне больше не пиши, пришлось уехать, но, клянусь честью, я сам не нарывался, просто пришлось помочь нашему дружочку Биллу Сиднею Портеру, он с нами путешествует, рассказывает истории, от которых мы то смеемся, то плачем, как сироты, взятые на воспитание тетеньками из Армии Спасения.

А дело было так: поселились мы втроем в шикарном отеле, а там назначили карнавал-маскарад, куда пригласили всех звезд страны и вроде бы даже самого ихнего президента. Пропустить такое было выше наших сил, мы одолжили Портеру денег на фрак, сами приоделись, как на свадьбу, и отправились в громадный стеклянный ресторан. Стоим мы себе возле колонны, разглядываем красоток, оркестр гремит, пары кружатся, и вдруг мимо проплывает такое Рыжее Чудо с голубыми глазами, что мы балдеем, словно юнцы во время первой поллюции.

К слову сказать, Билл Портер — красивый малый, типичный янки, волосы цветом в пшеницу, глаза зеленые, плечи налитые, рот очерчен резко, хотя очень мягок, будто постоянно хранит в себе улыбку. Рыжее Чудо его и заметило, пока глазела на него через плечо кавалера, трепетно прижимавшего ее к сердцу. Все бабы — стервы, точно говорю, все до одной, у каждой на уме блуд!

Потом Чудо еще раз проскользнуло мимо, и я заметил, что она легонько подправляла своего маленького, но крепкого кавалера именно к нашей колонне, а он, дурень дурнем, поддается, как все мужики, если к ним найден верный подход. Вот тут-то Билл Портер и начал процесс: он низко поклонился Рыжему Чуду, не таясь от ее кавалера, что по испанским законам есть объявление войны, блокада, страшное оскорбление, пиратство и воровство средь бела дня. Ладно, думаю, будь что будет. А Рыжее Чудо не унимается, волочет своего быка по третьему разу к нам, и снова Билл кланяется ей, а она так улыбается, что я ему говорю, зря вы это, ее Малыш вас прибьет, а он только усмехнулся: «некоторое оживление всегда красит вечера, подобные этому».

Что-то мне стало тревожно на душе, у меня так бывает, я три раза не входил в банк за золотом, потому что было предчувствие, и каждый раз предчувствие меня не подводило, сидела засада, ну и тут сосет у меня под ложечкой, сил нет. Говорю Биллу, мол, давай слиняем, если тебе баба нужна, вызовем в номер. А он хо-

лодно возразил, что Рыжее Чудо не баба, но сама молодость и чистота. Тут к нам и подвалил этот самый бычок, что ее вальсировал, и сказал Биллу, не смей тарашиться на мою невесту.

Начался следующий танец, я Билла чуть не за рукав тащу из зала, а он ни в какую; вообще-то он покладистый, как ребенок, но иногда становится каменным, ни с места не сдвинешь, ничем не переубедишь.

Тут-то все и началось! Рыжее Чудо глаз с Билла не спускает; то на своего малыша глянет с ненавистью, то на Билла — вопрошающе. Он бледный, замер весь. А потом красотка возьми да и брось свою мантилью к его ногам. Он ее поднял, прижал к груди и, поклонившись, вложил в ее трепещущие пальчики.

Ну, все, сказал я ему, за это вы поплатитесь, это ж оскорбление, вы ему обязаны вернуть платочек, ему, а не ей, он вам голову за такое свернет. А Билл только усмехнулся: «Мне это не впервой, полковник». (Он меня зовет только так, «полковник», я его спросил, отчего, а он ответил: «Не «крошка» же мне вас называть! Все маленькие мужчины злые, коварные, обидчивые». Вообще-то он верно говорил, я иногда, как баба, злюсь и обижаюсь из-за того, что мама родила меня таким коротеньким.)

Я его снова под руку, мол, айда отсюда, виски найдем, а тут Малыш подъехал к нам и как даст Биллу по скуле! Тот от неожиданности с копыт долой. Потом вскочил, глаза побелели от ярости, догнал испанца, окликнул его: «Малыш!» — тот удивленно обернулся, а наш Билл поднял его, как курочку, над головой, придушить хочет, ей-ей, а бычок из кармана выхватил стилет, и торчат бы ему в сонной артерии веселого выдумщика Билла, если б я не успел выхватить кольтяру и не продырявил Малышу лоб между бровями.

Как ты понимаешь, после этого карнавального происшествия оставаться в Мексико-Сити было не с руки, пришлось улепетывать, полиция, погоня, перестрелка и все такое прочее.

Я-то ничего, отошел, а Билл до сих пор какой-то трехнутый. Он считает, что вся его проклятая жизнь построена на неверно понятом законе причин и следствий. «Со мною всегда и все не как с людьми, — сказал он мне, — я обреченный человек, полковник».

Слава богу, рядом с тем местом возле Сан-Антонио, где мы окопались, находится эстансия с табунами необъ-

езженных двухлеток. Билл подрядился туда и пару недель объезжал таких скакунов, которых побаивался сам хозяин. Эта рискованная работа его успокоила, он вернулся к нам, и теперь мы заняты тем, что каждый вечер обсуждаем будущее: как поступить, чтобы стать богатыми на всю жизнь. Я спросил Билла, что он намерен сделать после того, как разбогатеет. Он ответил, что его главная мечта заключается в том, чтобы открыть театр оперетты в Хьюстоне, пригласить туда парижский кордебалет, а самому плясать наиболее веселые партии в «Периколе».

Если же говорить серьезно, то ты должен посмотреть в своих талмудах от юриспруденции, что мне, как иностранцу, грозит за налет на здешний банк, имею ли я надежду — в случае неудачи — на защиту как американец, или же сразу посадят на кол, не обращая внимания на мою принадлежность к сообществу Северных Штатов.

Письмо не показывай Па, незачем нервировать старика, мы и так доставили ему столько горя в жизни.

Фрэнк просит передать тебе привет, ты же знаешь, что заставить его написать хоть пять слов — так же невозможно, как курицу научить манерам льва.

Привет.

Твой брат Эл Дженнингс».

56

«Дорогой Грегори!

Не стану просить слишком уж большого гонорара, но тридцать долларов ты обязан перевести на известный тебе счет.

Новеллы Сиднея Портера, которые я тебе пересылаю, того стоят. Я убежден, что это не псевдоним и мистификации тут ждать не приходится. Наверняка он начинающий автор. Я запросил «Бюро анализов и исследований» м-ра Саймона Врука. Тот ответил, что литератор с таким именем не зафиксирован в справочниках.

А на самом деле Портер, приславший мне свои рассказы, законченный мастер новеллы. Его фабулы и стиль совершеннейшим образом потрясли меня.

Не обижайся на меня, Грегори.

Как любой писатель, ты ревниво относишься к успеху другого.

Я, как твой старый друг, думаю о твоём росте больше, чем ты сам. Поэтому дочитай письмо до конца и постарайся понять меня. Это послание продиктовано моей благодарностью за все то, что ты сделал мне в жизни. Мне отплатить тебе нечем, кроме как тем, что я намерен сейчас предложить.

Итак, что же я предлагаю?

Во-первых, изучив работы Портера, взять на вооружение его форму. Веселая ироничность, энциклопедическое знание, независимость оценок, смелость характеристик делают его человеком, рискующим спорить с немеркнущим талантом Марка Твена и Эдгара По.

Во-вторых, обратить внимание на его абсолютно новый прием: авторский вход в фабулу настолько личностен, что это позволяет ему утвердить себя в глазах читающей публики не только литератором, но и философом, политиком, моралистом.

В-третьих, тщательно проанализировать его диалоги, совершенно изумительные по наглости. Понятно, так у нас еще пока никто не говорит. Портер выдумывает свой язык, но выдумка его невероятно привлекательна, поскольку являет собою образец языка более емкого, более сочного, более интеллектуального, чем тот, к которому мы все привыкли и в литературе, и в каждодневной жизни.

Я думаю, что его язык не приживется у нас, однако на первых порах такого рода диалоги, бесспорно, привлекут читателя в силу их емкости и особенности. А ведь все неожиданное — залог успеха в таком предприятии, как литература, театр, то есть изобретательство.

Поскольку он пока что надежно забаррикадирован (наши хранители традиций будут костями ложиться, только б не пустить новое в литературу), ты, как писатель, имеющий имя и широко печатающийся, имеешь возможность «поиска»; стиль Портера, его технология, коли ты решишь исследовать ее и последовать ей, позволит тебе сделать качественно новый рывок и захватить новое место под литературным солнцем, которое принесет больше дивидендов, нежели те, которые ты получаешь сегодня.

Секрет Портера заключен в том, что он играет в протачка, но это тонкая, дьявольская игра! Он искуситель и философ, он есть новое качество литературы, угодное новому времени, высотным зданиям, скоростям метрополитена и тоннажу океанских пароходов. Я чувствую

это ладонями, ты уж поверь потомственному и почетному неудачнику от изящной словесности.

Спеши, Грегори! Спеши, резвый собрат по перу! Иначе, если мы не сумеем удержать Портера и он ворвется в наше предприятие, будет поздно; заявивший себя позиции не уступит.

А может быть, я снова ошибаюсь.

Вот и все.

Даже если ты не вышлешь мне тридцать долларов, но отправишь в подарок свою новую книгу, я буду считать себя вполне удовлетворенным.

Кстати, я встретил Марту. Она чертовски похорошела и, по-моему, по-прежнему тебя любит.

Если у тебя есть желание повидаться с ней, напиши. Она вложила деньги в хорошие акции и сейчас крепко поправила свое финансовое положение, во всяком случае, о продаже ее дома речь уже не идет.

И еще я видел Адама. Он очень располнел. У него одышка. Это ужасно. Впрочем, мы ведь считаем, что стареют лишь окружающие. Собственный облик наша память хранит постоянно молодым. Мы отторгаем возраст, когда его надо прикидывать на себя. Даже семидесятилетние просыпаются с мыслью, что грядущий день принесет им главную удачу в жизни.

Читай Портера! Перелопать его! Сделай его собою! Вознесись! Схвати бога за бороду!

Твой

Уолт Порч, литератор,
пансионат «Вирджиния», 25-я улица, Нью-Йорк».

«Дорогой Ли!

Неисповедимы пути господни!

Эл Дженнингс предложил войти в дело и купить прекрасное ранчо рядом с Сан-Антонио, на границе с Техасом, воистину райский уголок! Конечно же, я согласился, представив себе, как построю здесь гасиенду, перевезу Этол и Маргарет, вернусь к истокам, заведу хороших бычков и сожгу все те рассказы, которые таскаю в своем бауле. Однако же Дженнингс сказал, что от тех тридцати тысяч баков, с которыми он прибыл в Гондурас, осталось всего четырнадцать долларов и поэтому необходимо выпотрошить банк, где лежит еще

тридцать тысяч, вполне достаточных для обзаведения хозяйством. Поскольку я считаю, что каждый человек является собственником своей жизни и поэтому вправе распоряжаться ею так, как считает нужным, я не стал распевать псалмы на тему «не укради». Но Дженнингс сказал, что мне придется помочь ему в этом предприятии. Прямо отказать ему казалось мне в тот миг несколько неудобным — как-никак он достаточно таскал меня за собою по Центральной Америке и мексиканским городам. Я поэтому спросил, что мне следует сделать, Дженнингс ответил, что делать придется все, как полагается при ограблениях. «Стрелять?» — «Конечно, — ответил он, — кто добром отдаст свои деньги?» Тогда я сказал, что мне надо поупражняться в обращении с оружием. Он дал мне свой кольт, и я разыграл перед ним маленькую сценку, которая доказала ему, что я умею обращаться с оружием так, как он с пуантами или дирижерской палочкой. Дженнингс долго хохотал, когда я ненароком выстрелил себе под ноги, изобразив при этом невероятный испуг. Я решил, что предложение моего приятеля само по себе умерло. Но не тут-то было! Он предложил мне ехать с ним вместе и «стоять на стрёме», возле лошадей, понимая, что я не смогу получить свою долю земли просто так, в подарок. Поскольку я ни разу в жизни не преступал черты закона, пришлось отказаться от этого поддавка — «Ты, мол, просто постой рядом, а деньги получишь как настоящий налетчик, сполна, и не будешь считать себя никому обязанным, честно заработал, спокойно трать».

Через три дня Эл со своим братом Фрэнком вернулся, набитый банкнотами. Я сказал, что меня ждут неотложные дела. Дженнингс спросил, куда мне можно писать. О наивная, святая простота! Адрес отменно прост: «Мир. Портеру. Лично».

Словом, наутро я уехал, жить за счет других не умею. В салуне, где я остановился на ночлег, шла яростная игра в покер. Денег у меня было, как всегда, навалом — три доллара семнадцать центов; предложенные Дженнингсом пять сотен я, понятно, принять не мог. Что мне оставалось делать? Я поинтересовался, нет ли поблизости ранчо, где нужен ковбой или стригаль. Ответили, что таких «эстансий» в округе нет. Тогда я сел к столу и, будучи, как всегда, убежденным в неминуемом проигрыше, начал следить за развитием сюжета игры так, как кошка следит за норкой мыши. Я пробовал са-

мотерапию, уговаривая себя, что неминуемо проиграюсь дотла, но при этом разжигал в самой затаенной части моего естества уверенность, что на этот раз неминуемо выиграю. И, знаешь, выиграл! Причем весьма круто — триста девяносто два доллара. Это дало мне возможность спокойно вернуться в Гондурас и погрузиться в размышление по поводу того, куда вложить оставшиеся деньги, чтобы получить елико возможно скорую отдачу.

Поначалу я решил попробовать сунуть мой выигрыш в строительство маленького пансионата на берегу океана, но потом решил, что это мне дивидендов никаких не даст, ибо местные жители останавливаются друг у друга, у них это принято. Наши путешественники норовят загрузить товар на свои яхты и поскорей чапать в Новый Орлеан, чтобы их не перегнали конкуренты.

После этого я решил было открыть фотоателье, но подумал, что страсть диктаторов к поясным портретам не даст мне возможности развернуть эту индустрию, все-таки фотография ближе к правде, чем портретная живопись, угодная здешним меценатам.

Теперь моя мечта заключается в том, чтобы снять пристойное жилье и послать денег Этол для ее переезда сюда. В конце концов пусть Маргарет поучится в испанской школе, я не знаю более музыкального языка. Я могу сделать это хоть сейчас, но боюсь, что к их приезду я снова окажусь на мели, и если в Остине Этол помогает семья Рочей, то безденежье в Гондурасе может кончиться трагедией.

Тем не менее именно сейчас я, как никогда раньше, убежден, что настала полоса везения, я смогу заработать денег не только литературой, но и бизнесом. Именно сейчас я, как никогда раньше, чувствую близкую удачу во всех моих начинаниях.

Не знаю, как ты, но я стал еще больше верить предчувствиям. Ты даже не можешь себе представить, как я был спокойно убежден (хотя играл сам с собою в кошки-мышки, когда ставил последние три доллара, блефуя, словно Морган), что меня ждет выигрыш.

Мне пришлось переходить границу, как ты понимаешь, не под шлагбаумом, а в сельве, переправляясь через реку, полную аллигаторов и прочей гнуси. Я пустил коня в воду, ни секунды не сомневаясь, что все сойдет хорошо. Так и случилось. Поэтому ныне, пожалуй, впервые в жизни, я не тороплюсь принимать окончательное решение, присматриваюсь, прикидываю в уме, как по-

ступить, и считаю дни, когда выйду на берег, чтобы встретить моих дорогих и самых любимых на земле существ, Маргарет и Этол.

Пока все.

Крепко жму твою руку
Билл».

58

«Дорогой Боб!

Надо сделать все, чтобы судья выпустил интересующую нас девицу Салли на свободу. Только в этом случае тот бизнес, который я задумал, даст хорошие баки.

Выясни, в каком случае ее законвертуют в тюрьму за попрошайничество и шантаж, а в каком — отпустят на все четыре стороны.

Срочно жду ответа.

Твой
Бенджамин Во».

59

«Дорогой Бенджамин!

Девицу выпустят из зала суда только в том случае, если Филиппчик не явится на заседание, чтобы подтвердить свое обвинение в шантаже и вымогательстве.

Если же он придет, то, что бы девица ни говорила, как бы ни взывала к сердцам дедушек, рассказывая про младенца, ей вольют от трех до шести месяцев.

Искренне твой

Боб Ниглс».

60

«Дорогой Боб!

Мне кажется, надо поступить так: если в газетах (или даже одной газете) появится сообщение, что такого-то и такого-то будет суд над такой-то по обвинению в шантаже такого-то (со всеми титулами, «дипломированный», «президент», «член совета директоров»), Филиппчик не явится на заседание. Это уж ты мне поверь. Так что получи баки по известному тебе адресу и орга-

низуй пару заметок в прессе. А я займусь поиском людей, которые нам понадобятся после того, как девица выйдет на свободу.

Твой
Бенджамин Во».

61

«Хэй, Джонни!

Пару мешочков с пятью тысячами баков тебе передаст верный человек. Так что все в порядке, можно жить дальше, хоть на сердце скребет, потому что я перебрался в Калифорнию. Значит, наши враги рано или поздно меня вытопчут, а тогда не миновать стула или вечной каторги. Однако пока живется, надо жить, а там будь что будет. Если б мне давали возможность зарабатывать по закону, я б не стал сгибаться под тяжестью двух кольтов, можешь мне поверить.

Накануне предприятия нас от всей души повеселил Билл Портер. Когда я протянул ему револьвер и сказал, что надо поупражняться в стрельбе, он с ужасом взял кольт и, конечно же, ненароком выстрелил. Видел бы ты его насмерть перепуганное лицо и огромные глаза, в которых ничего было нельзя понять, кроме того, что Билл — добрейший малый.

«Полковник, — сказал он мне, — не стать бы мне помехой в вашем финансовом предприятии». Что так, то так, подумал я, с таким сгоришь в два счета...

До сих пор не могу понять, отчего он слоняется по миру, как мы. Скорее всего причиной тому явилась несчастная любовь. Я встречал много наших в Южной Америке, которые бежали туда от самих себя. Да разве от себя смеешься?

Мне не хотелось с ним расставаться, ведь преступника всегда тянет к чистым лицам (не надо, не вздрагивай, да, я преступник, пора называть вещи своими именами, но это пока не мешает Папе продолжать быть судьей, а тебе — Правозаступником?!).

Я уж и так и эдак вертел с ним, предложил постоять на стреме, посторожить коней, только б всучить денег, а он и от этого отказался. Он относится к ублюдочной части рода людского, которая готова голодать, только б остаться чистенькой. А вообще-то по закону грабить могут только очень богатые люди. Я мечтаю же-

ниться (если только найду здесь подругу моего роста, не на каланче ж бракосочетаться), родить детей, сколотить им капиталец и потом пристроить на Уолл-стрит, тогда все их грабежи будет надежно страховать закон. Эх-хе-хе, чего не сделает отец ради своих детей, еще даже и не существующих?!

Привет!

Твой брат Эл Дженнингс».

62

«Дорогой Билл!

Уж и не знаю, как быть, но далее скрывать правду от Вас я не могу, не хватает на этого моего материнского сердца...

Этол больна и врачи называют ее положение безнадежным. Единственно, что может помочь ей прожить хоть несколько месяцев, так это Ваш приезд.

Она не знает об этом письме. Молю Вас, не сообщайте ей о нем, это поссорит нас навсегда.

Все то, что она пишет Вам — и о своем прекрасном настроении, и о хорошем состоянии, — все это неправда.

Уже четыре раза было обильное кровохарканье. Доктор Якобсон с трудом остановил его.

Я молю бога за Вас и Этол.

Поступайте так, как Вам велит совесть.

Ваша миссис Роч».

63

«Дорогой Ли!

Этол совершенно больна. Я не смог оставить ее одну и вернулся из Мексики в Штаты. Так что можешь писать в Остин, как и раньше. Миссис Роч одолжила нам две тысячи долларов, мы внесли залог, меня поэтому продержали в тюрьме только два дня (бр-р-р-р, ужас, не хочу об этом), выпустили, вроде бы обещали больше не сажать до суда, но уверенности — никакой. Кто-то — я это чувствую ладонями — постоянно, скрытно и зло работает против меня.

Я постоянно вывожу Этол на прогулки, она стала чувствовать себя значительно лучше, исчез лихорадочный блеск в глазах, и ее не мучают вечерние ознобы,

которые более всего донимали меня, когда я приехал с чахоткою на твое ранчо.

Порою делается страшно: я еду с Этол на маленькой двуколке, рассказываю ей о своих странствиях по Южной Америке, придумываю какие-то забавные истории, хотя, как понимаешь, на сердце скребут кошки, а в голове у меня между тем складываются целые главы про людей, с которыми сводила жизнь. Я существую в двух измерениях: хожу, улыбаюсь, шучу, напряженно жду того момента, когда вечером стану мерить температуру Этол, ужинаю, рисую сказки Маргарет (она чудо, моя главная радость), и при этом пребываю в мире, живущем в моей голове, слышу обрывки фраз, угадываю поступки, внимаю своему же писклявому голосу, отстраненно вещающему про то, что сокрыто ото всех и известно одному мне, какой-то затаенной части моего мозга, которая не дает покоя, мучит, заставляя болезненно ощущать минуты, отсчитывающие ужас упущенного, неделанного, забытого.

Будь проклят тот день, когда меня потянуло в сочинительство! Я не кокетничаю, ты же знаешь, как я отношусь к себе! Боже, сколь радостна была та пора, когда я ставил какие-то оперетки, сочинял комедии для любителей Гринсборо и пел серенады по заказу наших ловеласов... Как давно это было!.. А было ли вообще?! Когда случился тот день или час, когда я понял, что не могу не писать того, что живет во мне, мучит, ломает, жжет?! Я не хочу этого более! Я ненавижу те страницы, которые лежат у меня в столе, я не верю в то, что они когда-нибудь будут напечатаны! Неужели эта пьяная страсть обязательно несет муку и тебе самому, и тем, кто тебя окружает?! А может, я отвратительный честолюбец, который норовит вырваться из общей массы за счет тех, с кем сводила жизнь, кто отложился в памяти или просто-напросто придуман мною?! Видишь, я снова говорю о себе, а бедная Этол, мышонком уснувшая за стеною, обречена на то, чтобы воспитывать Маргарет одна, без меня... Пять, а может, и десять лет — в зависимости от того, какой срок тюремного заточения определит судья.

И поэтому я говорю себе, что обязан писать, ибо это позволит мне прокормить Этол и Маргарет. После суда все дороги к работе в банке, газете, литературном агентстве, министерстве, фирме для меня закрыты. Только одна возможность заработать на хлеб насущный:

сочинять такие истории, которые найдут своих покупателей...

Жутко и унизительно, но иного выхода нет.

Пожалуйста, порасспрашивай старых ковбоев, как мексиканцы называли серебряные шпоры, которые делали умельцы в Акапулько? У них было особое слово, которое я не могу вспомнить, а ходить в библиотеку я не могу теперь, чтобы не встречаться на улице со знаковыми. Англо-испанский словарь чрезвычайно дорог, но это слово мне необходимо, оно ритмически-точно ляжет в тот рассказ, который я рано или поздно запишу на бумаге.

Меня также интересует, как старый индеец, который жил на эстансии «Натали», называл кожаный мешок, который мы привязывали к седлу, когда отправлялись в город? Я совершенно забыл это его слово. Оно не испанское, он произносил его на кечуа. Если помнишь, не премини написать мне, ладно?

Иногда, поздней ночью, когда все в доме спят, я выхожу на улицы, иду мимо домов, и мне делается страшно, оттого что здесь жил Питер, а его нет более в живых; там веселился Майкл, но и его свалил недуг; тут матушка Эстер угощала пивом, но и ее похоронили три недели назад. Как это страшно — зримое ощущение ухода в иной мир всех тех, кто жил с тобою рядом совсем еще недавно!

Твой Билл Портер».

64

«Мой дорогой добрый Уолт Порч!

Как всегда, ты ошибся! Я прочитал новеллы этого самого Билла Портера и подивился: что ты нашел в них? Всякая попытка создать новое в литературе есть начинание с негодными средствами. После «Одиссеи» ничего нового создано не было. Лучшее из написанного в средние века — лишь приближение к античному. Чем дальше литератор норовит уйти от древних, чем замысловатей он ищет форму, чем неожиданнее крутит сюжет, чем больше навязывает себя в роли комментатора происходящего, тем слабее его работы.

Я привык к тому, что меня замалчивает критика. Это происходит оттого, что я незыблемо стою на позициях традиционной европейской прозы. Американской лите-

ратуры как таковой не существует; да и как нация мы толком не сложились, кипим в одном котле, а какая получится из этого варева похлебка, надо еще посмотреть.

Не могу понять, что тебя привлекло в этом самом Портере, право! Он представляется мне удачливым маклером, который торгово нащупывает «жареное», то, чего ждут продавцы универсальных магазинов, миллионеры, путешествующие на океанских пароходах, и несчастные клерки, всю жизнь мечтавшие о поездке на Дикий Запад. Рабочие у нас не читают, фермеры — тоже, а если бы и читали, то все равно жить они будут так, как жили, — темно и стадно, ибо бытие определяет Рок, Дух, Сатана — все, что угодно, только не Идея, не божье Слово.

Ты вообще-то стал меня удивлять, старина. Не сердись за откровенность. Критик, ты должен быть похож на орла, который парит высоко в небе, выискивая жертву, растерзав которую можно преподать урок другим. Ты обязан растерзать жертву не из-за злобности характера, а для иллюстрации твоей Силы, то есть Мысли.

Ты же сидишь на земле и восторгаешься кукареканьем петуха с огненным хвостом. Что с тобою? Устал?

Литературу делают страдальцы. Люди типа Портера сочиняют сюжеты, сидя в кэбе, который везет их на службу. Они не знают отчаяния. Они упитанны и благополучны. У них жены толстые. Они в церковь ходят по воскресеньям в новом костюме. Таких новелл, какие сочиняет поразивший тебя Портер, я готов писать поштучно в день. Но мне же будет стыдно печатать такое! Где язык? Стиль? Какова главная идея? Где отчаянье, которое должно потрясать сердца читателей? Где безответность вопросов?

Или я старею? Может быть, я перестал понимать все, что меня окружает? Может быть, я засиделся в своем доме, в грозной тишине моей библиотеки?

Видишь, я не стал отвергать твоего протеза абсолютно. Я подверг и себя пристрастному бичеванию. И все это для того, чтобы заманить тебя в гости, сесть к столу, затопить камин и погрузиться в беседу, которая столь нужна тем, кого связывает не год и не пять, но тридцать лет дружества.

Жду!

Твой Грегори Презерз.

Р. С. Прочитав письмо перед тем, как положить его в конверт, я удивился: отчего столько раздражения в

моем ответе? Что меня больше задело: твои восторги по поводу Портера или же его вещи? Но если так, надо перечитать еще раз, так что я оставляю его рассказы себе, ладно?

Р. Р. S. Я не хочу видеть Марту, пусть даже она по-прежнему любит меня. Нельзя совмещать литературу и похоть; работа над рукописью убивает желание любить.

Напиши, сильно ли она располнела?

Р. Р. P. S. Тридцать долларов выслал».

«Дорогой Ли!

Все больше и больше начинаю постигать страшное значение слова «бессилие».

И в Древнем Риме, когда варвары приближались к Вечному городу, и во времена инквизиции, когда подозрительность была повсеместной, и в последние месяцы абсолютизма, при всеобщем разложении, накануне взрыва люди сгибались перед неизбежным, думали о нем, изредка решались обмолвиться с самыми близкими о том, что грядет, но ничего не предпринимали, чтобы хоть как-то противостоять этому мистическому, непонятному, устрашающе-неотвратимому будущему.

Но можно ли сравнить эту всеобщую пассивную обреченность с тем, когда ты просыпаешься утром, говоришь любимой «здравствуй», помогаешь ей подняться с ложа, ждешь ее за столом, пьешь с нею кофе, говоришь о том, что сегодня, наверное, будет дождь, интересуешься, заметила ли она, как ярко расцвели калы, какой сочный, нутряной у них цвет, слушаешь ее ответы, смотришь в ее глаза, ставшие громадными, невероятно живыми, реагирующими буквально на все окружающее, и понимаешь при этом, что остались ей не годы, и не месяцы, а недели, может быть, даже дни.

Как ты думаешь, а что, если я буду постоянно чем-то занимать ее? Может быть, это не даст болезни подтачивать ее здоровье ежеминутно? Что, если просить ее переписывать то, что я держу у себя в столе? Расклеивать строчки из дневников, которые я привез? Ах, боже мой, да кто я такой, чтобы надеяться на успех?! Если бы я был настоящим писателем, если бы я был высоко благороден, а не обычен и мал, если бы мои книги проникли в народ и формировали его душу, тогда Этол чув-

ствовала бы это и дралась не столько за свою жизнь, сколько за мою надобность людям, потому что в любом человеке гражданское — как бы глубоко оно ни было запрятано — превалирует над личным, каждый человек в душе своей носит задатки нереализовавшего себя Цицерона, Клеопатры, Руссо или Баха. Только большой Литератор может формировать героические характеры, легко переносящие невзгоды, уверенные в том, что будущее, сколь бы ни был труден к нему путь, окажется прекрасным, значительно более полным и достойным, чем прошлое и настоящее.

Между прочим, Наполеон, которому нужны были герои-солдаты, заметил, что если бы Корнель, автор героических характеров, которым многие в ту пору подражали (а не просто пролистывали его творения на сон грядущий или же успокоенно откладывали — если речь шла о папской цензуре — «ничего опасного не замечено, можно печатать»), был бы жив, он бы дал ему титул герцога.

Увы, я не Корнель, хотя я хочу писать такие характеры, которым не зазорно следовать. Впрочем, даже если бы я стал Корнелем, герцогское звание мне бы не присвоили из-за подсудности, которая, увы, на всю жизнь. Продажные политики, сидящие в Капитолии — до тех пор пока их самих не выгнали, как торговцев из храма, — внимательно следят за «чистотою» граждан, в первую очередь формальной, отмеченной справкой, документом, архивом, но отнюдь не за чистотою духовной, истинной, проверяемой не бумажной выпиской, но реальным делом.

Я думал, что было бы очень славно увезти отсюда Этол. Я думал, что смена обстановки хоть как-то поможет ей, соки духовные вольют новые силы в ее угасающую плоть, но врач, которого время от времени приглашают, считает перемену климата нецелесообразной. Если бы я жил в доме Этол в ином качестве, может быть, ко мне бы прислушались, ибо я убежден, что врач не прав. Поскольку он считает, что дни Этол сочтены, надо пробовать все, что только можно, ломать устоявшиеся медицинские доктрины, позволять себе надеяться на Чудо, навязывать эту веру несчастной Этол. Правда, у нее, как у всех смертельно больных, началось некое отторжение правды, она не то чтобы не хочет, она уже просто-напросто не умеет понимать свое положение, совершенно искренне обсуждает со мною фасоны следующей ве-

сны, рассматривает фотографии парижских мод, советует, что пойдет ей, а что нет, а я должен быть при этом веселым, я должен спорить с нею, убеждать ее в том, что надо будет сшить не синее, а лиловое платье, поскольку это еще больше подчеркнет совершенно особый цвет ее глаз.

Однако недавно я ужаснулся мысли, что снова во всем ошибаюсь. Это началось на прошлой неделе, когда Этол, после ужина, когда я помог ей перейти в спальню, как бы невзначай спросила: «Если бы случилось страшное и ты бы погиб в Гондурасе, я бы никогда не вышла замуж. Или, быть может, только после того, как Маргарет стала взрослой. А ты?» Я ответил ей, что такие вздорные мысли мне никогда не лезут в голову (а они лезли!), я отказываюсь отвечать на такой отвратительный вопрос, мы будем жить еще сорок девять лет, одиннадцать месяцев, семь дней и четырнадцать часов, а потом нам смертельно надоеет все это предприятие, именуемое жизнью, и мы уснем вместе, а проснемся в чистилище. (Добро не есть следствие людских размышлений. Оно в нас заложено изначально, а если порою и благоприобретено, то лишь в самых малых дозах. Конечно, оно присуще всем, но зримо проявляет себя лишь в натурах особо одаренных; выходящих из рамок обычного. Но ведь, возражаю я себе, чтобы хоть как-то успокоиться, такого рода люди обычно проявляли себя в деле, в идеях, в проповеди, как Лютер, такого рода личности обычно вносили новое качество в мир, а моя Этол прожила свою короткую жизнь лишь заботами обо мне и Маргарет, лишь страданием, которое я принес ей, лишь ожиданием перемены к лучшему. Зачем же такая несправедливость? Почему она не выразила себя так, чтобы людям стало хоть на чуточку легче жить и радостнее думать о грядущем?! А может быть, Нравственность и Добро распространяются среди людей только в том случае, если становятся мыслью изреченной?)

Я пишу тебе письма после полуночи, когда в доме все спят, но все равно я испытываю постоянный страх. Мне кажется, что это письмо может не дойти до тебя и вернуться обратно, к Рочам, и Маргарет вскрыет его, и оно попадет на глаза Этол, и она узнает всю правду (если только она и так не знает ее до конца, о чем я писал тебе выше), я опасаюсь, что кто-то где-то почему-то делает все, чтобы меня арестовали задолго до суда, и это сразу убьет Этол, и виноват в этом буду один я, а не

тот, кто где-то и почему-то копает против меня... Я представляю себе, что один из родственников тех бандитов, которых мы перестреляли на границе, когда они хотели вторгнуться к нам, все эти годы выслеживал меня, и теперь нашел, и постоянно наблюдает за домом Рочей, но мстить он намерен не обычным, не страшным в общем-то способом — выстрелом в грудь, но особо изощренно, — похитив Маргарет. Чем ближе день суда, чем хуже состояние Этол, тем ужаснее мне жить из-за постоянного, гнетущего чувства страха, который ранее был неведом мне. А как это мешает работе, Ли! Перед моим мысленным взором проходят дикие картины ужасов, они перечеркивают все те сюжеты, которые ранее просто-таки толпились в моей голове, а потом я начинаю думать о себе, как о бездушном чудовище, которое живет лишь своими представлениями, когда рядом, в пяти шагах, хрипло дышит в неосознанном (а может, осознанном?) предсмертье прекрасный двадцатилетний человек, мать моего ребенка, нежная, взбалмошная, несчастная, обреченная Этол...

Твой Билл».

66

«Дорогой Грегори!

На те тридцать долларов, которые ты мне прислал, я устроил грандиозный пир. Старый Уолт Порч, «орел-стервятник от критики», как ты изволил выразиться, знает цену слову, боится его и трепещет перед ним.

Если хочешь знать правду, то своим эпитетом ты выдал мне комплимент. Орел — самая большая птица (хоть и хищная), орел мух не ловит, он ищет партнера, хоть в чем-то равного ему по значению. (Кстати, именем орла где-то называют наиболее ценную железную руду, «орлиный камень».) Что же касается «стервятника», то и здесь исследование глубинного, таинственного смысла, заложенного в неразгаданность слова, следует толковать в пользу последнего, ибо наиболее близким по смыслу синонимом следует считать слово «яростный». Да, да, именно так! Эрго, я — по твоему определению — «яростный орел».

Спасибо!

Только обязательно верни рассказы Портера.

Марта похудела и выглядит так, словно ей исполнилось двадцать три, а не тридцать два года.

Думаю, ты правильно решил не ехать сюда. Она была бы расстроена, встретившись с человеком, который вполне серьезно пишет про то, что любовь несовместима с литературой. По-моему, отсутствие любви свидетельствует о том, что литература кончилась, осталось глухое ремесло, в лучшем случае мысль, но никак не чувство, в то время как общеизвестно, что первоосновой прозы и поэзии является чувство, высекание огня, рождение позиции...

Это не я пал, а ты, Грегори! Твое письмо повергло меня в уныние.

Читай исследования про Сальери. Только перед этим достань его партитуры и проиграй их на рояле — без этого ты не поймешь всей трагедии.

Кстати, признаюсь, до недавнего времени я был убежден, что Сальери вымышленная фигура.

Но самое страшное случилось сегодня утром, когда я прочитал в «Пост» твой рассказ, написанный после того, как ты подверг остракизму Портера.

Грегори, ты ведь стал подражать ему! Ты пытаешься следовать его интонации, ты прерываешь повествование, чтобы порассуждать о том и о сем, ты норовишь сделаться добрым утешителем читателей, их сотоварищем, но ведь это не удастся тебе, я чувствую фальшь в каждом твоём слове, в тебе нет того естества, которое я увидел в новеллах безвестного Портера, преданного, обворованного и запрещенного к публикации мною, Уолтом Порчем, во имя дружбы с тобою, Грегори Ф. Прерзом.

Можно быть последователем, но нет ничего страшнее удела подражателя! Ибо он, подражатель, тяжело ненавидит того, кому подражает, кого он натужно хочет переплюнуть, но разве можно природу написать прекраснее, чем она есть? Мастерство пейзажиста — в приближении к ней, но это совсем не то приближение к «Одиссее», о котором ты писал мне столь раздраженно.

Традиция только тогда становится традицией, когда ей противопоставляется новация. Чем больше новаций, тем ярче светит Антика, но коли мир решит законсервировать себя, словно мясо в стеклянной банке, начнётся мрак и безвременье, время колдовства, черной магии и глухого бунта разума.

Я возвращаю тебе тринадцать долларов, а двадцать

семь верну через неделю, когда получу очередной гонорар из моего литературного агентства, задробив еще одного Портера. Да здравствует Сальери, слава нам с тобою, Грегори!

Я не кончаю письмо обязательным «до свиданья», ибо мне что-то перестало хотеться видеть тебя.

Уолт Порч, хриstopродавец».

67

«Дорогой Ли!

Мне трудно братья за перо после того, как я навсегда простился с Этол.

Я могу описать самые мельчайшие подробности ее последних дней, которые бы разорвали тебе сердце, лишили сна и надолго перечеркнули в душе твоей всяческую надежду на Справедливость и Добро. Именно поэтому я не стану этого делать. Пусть уж мое горе живет во мне, со мною пусть оно и умрет, незачем открывать его другим, безжалостно это, а потому нечестно.

Я потрясен мужеством Этол, ее достоинством. Видимо, никогда в жизни человек не открывается окружающим так, как он открывает себя накануне смерти.

У меня не было от тебя секретов... Впрочем, нет, были и есть, у каждого человека всегда есть секреты от друга, отца, матери, жены, дочери, сына... Тем не менее ты знал, что болезнь Этол сопровождалась ломкой ее характера. Веселая, доверчивая, реактивная, общительная, легкая, она постепенно становилась раздражительной, обидчивой, подозрительной... Мне порою было до слез горько слышать ее слова, незаслуженные, чужие, холодные... Я обижался на нее так, как только может обижаться любящий мужчина, когда его оскорбляют безо всякого к тому основания... Но я всегда помнил, что единственным человеком, который безоговорочно верил в то, что я обязан писать, была именно Этол. Ничто так не дорого пишущему, как абсолютная вера самого близкого человека в его призвание. Малейшая фальшь ощущалась немедленно и трагично. Я всегда ощущал, что она верит в меня, и это давало мне сил жить, работать, переносить страдания и прощать ей все то, в чем она была несправедлива ко мне.

Ты не можешь себе представить, какой она стала

кроткой в последние дни. Она все поняла. Я это увидел, когда вошел в спальню, а она с ужасом смотрелась в зеркало. Именно с ужасом! Видимо, у нее был тот момент прозрения, когда истина на какой-то миг возникает перед глазами.

«Я умираю, — спокойно сказала она мне. — Неужели Маргарет суждено все это видеть?»

Что мне было ответить ей?! Как?!

Я стал говорить, что дела ее идут на поправку, нельзя поддаваться настроениям, стыдно распускать себя, умей сдерживать норы, я играл, как провинциальный трагик, ненавидя себя, чувствуя, что сердце мое вот-вот разорвется от горя, бессилия, любви к ней и жалости.

«Милый, — сказала Этол, — сделай так, чтобы девочка не видела меня бездыханной. Увези ее отсюда, а когда все кончится... Вы вернетесь, и ты скажешь, что я поехала в Нью-Йорк, в клинику на два года».

Я не сумел себя сдержать... Будь я трижды проклят за мою слабость! Я заплакал и этим подтвердил правоту ее слов, а должен-то ведь был продолжать смеяться — как угодно, любой ценой, но — смеяться! Если бы я смог победить себя, она бы жила еще неделю, две, а потом бы спала жара, кризис мог миновать! Я виноват в том, что она ушла так рано, кругом виноват один я и никто больше!

А она обняла меня, и стала гладить прозрачной рукою по голове, и шептала мне какие-то невероятные слова, успокаивая меня, а потом улыбнулась и стала вспоминать нашу молодость, когда мы тайком обвенчались, и все наши озорства вспоминала, но не так, чтобы разорвать мне сердце до конца, а, наоборот, с юмором, чуть ли даже не весело. Как объяснить такую могущественную силу в этой женщине?

«Ты меня вспоминай здоровой, — попросила Этол. — И никогда, пожалуйста, никогда в жизни не позволяй себе увидеть меня такой, когда я была раздражена и несправедлива к тебе. Тебе будет легче жить, если я останусь в твоей памяти дурной девчонкой, которая бросила отчий дом и пошла к священнику с улицы, не зная, что такое подвенечное платье. Вспоминай, как мы ездили вокруг Остина, когда ты вернулся из Гондураса, и я уверяла тебя, что мне хорошо, и боли в груди нет, и Маргарет смотрела на нас сияющими глазами, маленький человечек с разумом взрослого... Как она мечтала, чтобы ты поскорее вернулся! Как она грезила тем днем,

когда мы снова будем все вместе, Билл! Увези ее, родной, увези, я места себе не нахожу, как представляю ее возле моего бездыханного тела...»

Маргарет была на грани помешательства, когда все случилось.

Я стараюсь не бывать с нею дома, мы целыми днями пропадем в лесу, на берегу пруда, я пытаюсь выдумывать какие-то мудреные игры, приучаю ее к шарадам, ловлю диких бабочек... Единственно, что отвлекает ее от горя, так это мои сказки.

«Только чтоб конец был хороший, — просит она меня, — и пусть будет смешно».

Ли, наша жизнь — это дорога, которая ведет в никуда, это путь потерь, а как сделать так, чтобы она сделалась тропой находок, я теперь не знаю.

Билл».

68

«Уважаемый мистер Холл!

Вы и не представляете себе даже, сколько я передумала, только бы побудить Билла стать более активным. Но после кончины Этол он изменился, стал малоразговорчивым и внутренне как-то ожесточился. А может быть, просто-напросто замкнулся в самом себе.

Я пробовала говорить с ним на ту тему, которая Вас волнует так же, как и меня. Он ответил, что плетью обуха не перешибешь, и человек, попавший в судебную передрагу, если только он не Рокфеллер, никогда добром из нее не вырвется.

Просто не знаю, что и делать!

Про Маргарет я ему тоже говорила, но он считает, что чем дольше будет тянуться этот проклятый процесс, тем больше шансов на то, что девочка узнает правду. Он взял с меня слово, что после суда, каким бы ни был его исход, мы уедем из Остина в другой город, дабы никто и никогда не мог сказать маленькой, что случилось с ее отцом.

Все мои надежды я возлагаю на Всевышнего, он милостив к тем, кто невинен.

С ужасом я жду того дня, когда начнется суд. В тот день он будет арестован.

Предпримите все, что только можете, не дайте свершиться несправедливости, дорогой мистер Холл!

Искренне Ваша

миссис Роч».

69

«Дорогая миссис Роч!

Я пишу Вам это письмо, зная, как добро Вы относитесь к несчастному Биллу и верите в то, что он невиновен в инкриминируемом ему преступлении.

Я пытался воздействовать на него в том смысле, чтобы он вместе с адвокатами потребовал еще раз исследовать данные банковской ревизии. Действительно, не может не быть странным тот факт, что из ста пунктов обвинения в нарушении Закона о Банках, ныне в обвинительном заключении осталось лишь два пункта, а вместо пяти тысяч долларов, которые якобы похитил Билл, теперь осталось только восемьсот.

Но он попросту не ответил на мое первое письмо. Прежде чем я стану обращаться к нему во второй раз, хотел бы спросить Вашего совета, как мне следует поступить, ибо я не видел его с той поры, как он исчез. Может быть, в характере его произошли какие-то перемены, которых я не знаю, но которые известны Вам? Может, Вы подскажете, как лучше обращаться к нему, какие струны в его сердце надо задеть?

Мне, как и Вам, известна его испепеляющая любовь к Маргарет. Быть может, стоит апеллировать к этой его любви? Быть может, стоит просить его употребить все усилия, чтобы продолжить борьбу и доказать свою невиновность — именно во имя крошки?

Я готов внести деньги и пригласить еще одного адвоката, только б помочь этому прекрасному человеку выпутаться из той страшной паутины, в которую он попал.

С нетерпением жду Вашего ответа, многоуважаемая миссис Роч,

Ваш искренне

Ли Холл».

70

«Дорогой Ли!

Я с большим трудом, а говоря откровенно, неохотой, сел за это письмо.

Пойми меня правильно.

Прежде всего в жизни я ценю достоинство. Именно поэтому я считаю, что суетиться, обивать пороги, что-то доказывать, — недостойно. Это унижает человека. В конце концов, не закон создал людей, а люди закон, вот пусть он им и служит.

Разум не может не быть заинтересован в том, чтобы честные были защищены, а нечестные наказаны. Суд не может не желать — во имя человечества же, — чтобы умные и талантливые (а я, прости, в глубине души таким себя все-таки считаю) работали на благо прогресса, а не сидели на каторге. Если же означенного Суда не существует, а суд земной составлен из людей малокомпетентных, отягощенных личными заботами, трагедиями, радостями, драмами, то пусть все идет как идет. Нельзя терять достоинство. Это непростительно.

Во многих европейских странах существует некий детский шовинизм: во всем, что у них происходит гадостного, они винят всех, кого угодно, — происки внешних врагов, интриги врагов тайных, погодные условия, небесные катаклизмы, — но только не самих себя, не собственную нерасторопность, ошибку, недосмотр. Меня это коробит. Я не хочу оказаться зараженным этой болезнью, которая практически неизлечима, ибо она ищет дьявола не в себе самом, но в окружающих. А ведь случилось так, что я виноват кругом, Ли. Если бы я был подготовлен к моей работе в Банке, если бы я изучил закон, карающий нарушение норм работы, если бы я лучше знал людей (то есть, продолжая им верить — без этого нет жизни, — тем не менее требовал бы гарантий), если бы люди, с которыми меня сводила жизнь, так же исповедовали достоинство и честность, как это норовлю делать я, тогда не произошло бы ужасной трагедии, но третий звонок уже прозвенел, поезд отходит, опустить перед ним шлагбаум нет возможности.

Пойми, чем больше я сейчас стану приводить доводов в свою защиту, тем более жалким я буду выглядеть в глазах всех тех, кто меня знает. Тот человек (а может быть, люди), который мог бы поставить все с головы на ноги, этого не сделал. Почему? Бог ему (им) судья. Если бы он сказал всю правду, меня бы оправдали. И это бы никак не затронуло его честь. «Он сделал важное признание» — так бы сказали о нем. А обо мне, если я стану рассказывать правду, презри-

тельно заметят: «Помимо всего прочего, он еще оговаривает честных людей!» Тем более что виновного в моей трагедии уже нет в живых. Вообще я все больше и больше убеждаюсь в том, что те люди, которые причиняли мне зло (вольно или невольно), платились за это дорогой ценою. Нет, это не ощущение исключительности говорит во мне, не мессианство какое-то, ты знаешь, я не отношусь к числу самовлюбленных нарциссов, просто сама жизнь подвела меня к этому. Помнишь, как Боб «Лошадиные зубы» донимал меня и подсовывал мне незаряженные патроны, когда мы шли в секреты на границу, и сыпал песок под седло, чтобы погубить моего коня? И что же? Не я погиб в перестрелке, а он, потому что в суматохе ночного нападения бандитов он схватил мои патроны, а не свои... В Новом Орлеане сосед по ночлежке клал в воду мое лезвие, чтобы я не мог побриться утром, перед тем как уйти в поиски поденной работы, а потом сесть в парк, за очередной рассказ (я не могу работать, если небрит); он нарочно опрокидывал мою миску с кашей, которую давали бесплатно, а это было пищей на весь день, — согласишься, дело отнюдь не маловажное. Так вот этот человек поскользнулся на мостовой, упал и поломал себе ногу. Когда я положил его в кэб, — хозяин согласился отвезти его в больницу для бедняков, он в ярости хотел ударить меня по лицу, свалился с сиденья и поломал ключицу. (Кстати, он был уродлив до отвращения. Все уродливые люди обязательно подонки, в этом кроется какая-то закономерность.) В Мексике, когда я с Элом Дженнингсом присматривал местечко, о котором говорили как о золотом дне, к нам пристал один бродяжка, американец из Айовы. Дженнингс не очень-то хотел брать его, но я уговорил, нажимая на то, что человек без знания испанского языка, один-одинешенек, лишенный средств, обречен на гибель. Я уговорил, а этот человек сразу же стал делать мне гадости. О, как он был изощрен в своей гнусности, как изобретательно он старался внести рознь в нашу дружбу! И что же? Провидение наказало его, он свалился в тропической лихорадке, и только знакомство с добрым капитаном позволило нам отправить его в Новый Орлеан.

Как я понял из одного твоего письма, к моей трагедии мог иметь отношение Филипп С. Тимоти-Аустин. Хочешь верь, хочешь нет, но его накажет Господь. Так, увy, произошло с тем человеком, к которому я прекрас-

но относился и который еще полгода назад мог бы положить конец моему позору. Он не сделал этого, и его нет больше.

Если бы на следствии я поступил чуть более «обтекаемо», если бы открыл не всю правду (я не говорю о том, чтобы осознанно лгать, я этого не умею и, главное, боюсь, жду кары), тогда мое положение было бы совсем другим и поводов к агрессивной защите я бы имел куда как больше, но я считал недостойным лгать потому именно, что уверен в своей честности и невиновности. Ведь никто не показал против меня, ни один человек! Ведь никто не присутствовал тогда, когда я якобы давал деньги или (что еще обиднее) брал их себе. Я мог бы отказаться от той или иной подписи в платежных ведомостях, но я ни от чего не отказался, более того, я всегда рассказывал абсолютно всю правду, и это, конечно, было против меня, но я полагаю, что человек живет не тем днем, который начался сегодня, но днями, в которых ему надлежит реализовать то, что отпущено Судьбою.

«Он признался!» Повторяю: я не признался, я просто сказал правду, полагая, что дело следствия искать виновных. Следствию это оказалось не под силу. А может, было невыгодно.

Закрывать дело нельзя, все обязано быть доведенным до конца. Истинного виновника найти невозможно, но ведь есть я, следовательно, я и есть преступник! Так зачем же мне сейчас проявлять недостойную суетливость? Что это даст, кроме ощущения собственной малости? А разве человек, долго испытывающий такое чувство, сможет писать рассказы?

Судьба выносит свой приговор. Тот, кто виновен, ни-когда не сможет творить.

Ли! А я ощущаю в себе постоянную тоску по работе, меня душат слова, образы, мысли.

Я обязан доказать свою невиновность не тем, что буду долгие годы ходить по серым и безликим судебным инстанциям, но творчеством.

Я обязан стать нужным тем отверженным, с которыми меня сводила жизнь, тем несчастным, которые ждут своего Счастья.

Пусть я помогу им в уверенности, что свершится Чудо. Только надо идти вперед, идти и идти, как бы ни было трудно, и вот там, за поворотом-то, оно и ждет всех нас, это Чудо.

Я жду будущего без страха.
Я не намерен терять достоинство.
Не сердись.

Твой друг
Билл Сидней Портер».

71

«Дорогой мистер Холл!

Как мы и договорились, я отправился на процесс м-ра Портера, дабы на месте предпринять все возможные шаги для защиты этого джентльмена.

Увы, я ничем не могу обрадовать Вас. Хотя м-р Портер категорически отказался признать вину, хотя обвинитель был вынужден отказаться от ста четырех пунктов, выдвигавшихся против м-ра Портера во время следствия, тем не менее два эпизода ему вменены в вину и восемьсот долларов «повисли в воздухе».

Другой бы на месте м-ра Портера потребовал повторной экспертизы, вызова новых свидетелей и допроса родственников тех, кто руководил работой Банка, но к моменту суда умер. Однако, как ни странно, Ваш друг во время слушания дела ведет себя совершенно безучастно. Он одет, словно бы вышел от лондонского портного, прическа его безукоризненна, манеры достойны и сдержанны, но он совершенно не слушает, что о нем говорят, его вроде бы не интересует то, что должно на этих днях свершиться. Он сидит, закинув руки за голову, думает о чем-то своем; ногу держит на ноге, словно наблюдает за игрой в крокет, и даже на вопросы своих адвокатов толком не отвечает.

Когда я попросил устроить мне с ним встречу и изложил ему суть Вашей просьбы, он ответил буквально следующее: «Положить пять лет на то, чтобы доказывать свою невиновность, став нервическим придурком, представляется мне неэкономной тратой времени, сударь». Что я ни говорил ему, какие доказательства ни выдвигал, как ни упирал на то, что федеральный Суд не сможет не заинтересоваться тем, отчего против него сначала было сто одиннадцать пунктов обвинения, а на процессе осталось всего два, м-р Портер был холодно-корректен, учтив, но неумолим. Словом, я не смог выполнить Вашего поручения, дорогой мистер Холл. Думаю, дней через пять после того как огласят приговор, его отправят на каторгу.

Я готов передать ему Ваше письмо, я готов сделать все, что в моих силах, однако больной, который не верит врачу, а живет по законам своих чувствований, обречен.

Готовый к услугам, в ожидании указаний

Саймон Врук,
«Анализ, исследования и консультации».

72

«Прокурору Д. Кальберсону.

Вчера в 17 часов 11 минут в дверях банка из дамского револьвера марки «браунинг» № 45792 был застрелен банкир Филипп С. Тимоти-Аустин.

Убийцей оказалась девица Салли Кэльстон, девятнадцати лет, незамужняя, певица церковного хора, работавшая прачкой, привлекалась к суду за попрошайничество и шантаж.

На предварительном допросе Салли Кэльстон отказалась объяснить, чем вызван ее злодейский поступок, по законам Штата попадающий под смертную казнь на электрическом стуле.

Допрошенная в качестве свидетеля квартирная хозяйка Салли Кэльстон показала, что Филипп С. Тимоти-Аустин был отцом ребенка Салли Кэльстон, который умер от болезни, поскольку отец отказался признать его и не давал денег на оплату врача и лекарств.

Препровождая при сем изъятый браунинг, сумку с тридцатью центами и носовым платком, а также показания трех свидетелей, сообщаю, что Салли Кэльстон отправлена в ту тюрьму, откуда она была только сегодня утром выпущена.

Остается открытым вопрос, где она взяла десять долларов для того, чтобы купить браунинг и патроны.

На это убийца категорически отказывается отвечать.

Водитель кэба, видевший, как она вышла из тюрьмы, показывает, что к ней подошел некий мужчина, но примет его он не помнит.

Сама же Салли Кэльстон ничего об этом человеке не говорит и повторяет, что «свершилась божья кара», а она была лишь «орудием Ее».

Сэм Бил Николберг,
шериф».

«Дорогой Боб!

Все получилось самым отменным образом! Ты лучший из всех режиссеров! Теперь откроем с тобою предприятие, и оно будет очень прибыльным, уж поверь мне!

Фараоны нюхали дело со всех сторон и прежде всего начали искать мужика, который подошел к Салли, когда она вышла из тюрьги. Хорошо искали, молодцы, с ног сбились.

И никому в голову не пришло искать бабу, которая так ловко сыграла свою роль. (Все ж таки бабы похожи на стадных зверушек: готовы поверить дьяволу, если он будет в шляпке с вуалью и юбке, и наверняка отринут господа, натяни он панталоны и жилет.)

Твоя компаньонша остановила Салли как раз там, где я и планировал, сказала, что хочет погадать ей, все бабы на это падки, ну и рассказала о прошлом ей все, как надо, а потом назвала адрес магазина, где торгуют дамскими бульдожками-браунингами, «орудиями кары божьей».

А дальше было все, как ты и предсказывал. Девушка купила «бульдожку» и отправилась в банк, поджидать Филиппчика.

Я наблюдал за нею с другой стороны улицы, и мне было жутко глядеть на ее глаза, столько в них было огненной ненависти. Наверное, все же только матери могут так ненавидеть!

Филиппчик вышел из банка после всех других, — одно слово, директор, занятой человек. Крошка пряталась за колонной. А потом подошла к нему и сказала: «Ну, здравствуй». А может, что другое, только мне показалось, что она именно это сказала, я глядел на ее рот, красивенький такой ротик, только губы тряслись.

Он сразу побледнел; это ж не то, что топить своих конкурентов, тут смерть в глазки заглянула: либо серной плеснет, либо бритвочкой черканет по горлышку.

Она ему что-то еще сказала, но что, я не понял, а потом достала из кармана «бульдожку»; настоящий мужчина хряснул бы ее ребром ладони по рученьке, «бульдожка» б и выпала на дорогу, а он чуть не на колени, но она не разрешила, бабахнула, а после этого рассмеялась. Он еще дергался, а она смеялась. А потом, как в театре, бросила на него «бульдожку», стала перед ним на колени, и ну плакать...

Дорогой Боб, я сделал такой вывод: прием, предложенный тобою, очень перспективен, и баб следует бесстрашно использовать, особенно если надо наказать гада или устранить конкурента.

Честных людей на земле нет, стоит только поискать — в каждом найдешь зацепочку, которую можно раскрутить ото всей души.

Ну, например, я знаю, что один бес из Канзас-Сити набит баками и так же, как Филиппчик, любит свеженьких. С Филиппчиком, правда, дело другого рода, он лишил меня работы, опозорил и забыл обо мне: так садисты переступают через труп жертвы и тянутся к бокалу, чтобы наполнить его черносмородиновым ликером — для успокоения души. Я жаждал отмщения, нашлись люди, которым он тоже стал поперек дороги, отмщение случилось.

С теми баками, которые я теперь получил, мы вполне можем заняться исследованием этого самого развратного туза из Канзас-Сити. Пригласи в дело свою подружку. Я финансирую.

Поищем там именно девиц. Они алчут отмщения. Используем их, нагадаем чего только их душе угодно, а потом объявлюсь я в качестве ангела-спасителя.

Оплата аккордная, полтысячи баков на стол — и мировая. Пораскинь мозгами, как мы назовем нашу фирму. Есть предложение обозвать ее так: «Бюро по анализу скандальной информации, защита от шантажа и доверительные советы». Как тебе?

Камингсу понравилось, его люди входят в долю!
Сердечно приветствую!

Бенджамин Во».

«Дорогой мистер Сэм Арчибальд Тимоти-Аустин!

Страшное известие о трагической кончине Вашего сына и моего несравненного молодого друга Филиппа С. Тимоти-Аустина потрясло меня и ввергло в глубокую скорбь.

Я понимаю, что никакие слова не смогут унять Ваше горе; гибель единственного сына, талантливейшего экономиста — это удар не только по Вашей семье, но и Стране, столь ценящей талант и напор.

Память о Филиппе С. Тимоти-Аустине навсегда сохранится в наших сердцах.

Примите также глубочайшее соболезнование от мистера Кинга, который, как и все мы в Вашингтоне, скорбит о происшедшем вместе с Вами.

Искренне Ваш

Камингс, юрист и консультант».

75

«Дорогой мистер Холл!

Ваше последнее письмо несчастный Билл так и не получил.

Я отправила Ваше письмо в каторжную тюрьму Колумбуса. Он имеет право на переписку, так что связь с миром прервана не будет.

После объявления обвинительного вердикта, накануне отправления на каторгу, он прислал мне записку, которую он разрешил переправить Вам, что я и делаю:

«Хочу со всей торжественностью заявить Вам, что, несмотря на решение присяжных, я абсолютно невиновен в каких-либо преступлениях во всей этой истории с банком, разве только в том, что имел глупость держаться за должность, которая была мне не по плечу.

Каждый разумный человек, слышавший свидетельские показания, знает, что я должен был быть оправдан... Увидев состав присяжных, я почти расстался с надеждой, что они сумеют в достаточной мере разобраться в технических вопросах, чтобы вынести справедливое решение.

Конечно, я совершенно подавлен тем, что случилось, но не из-за себя. Не так уж важно для меня мнение широкой публики, но хотелось бы, чтобы несколько друзей, оставшихся пока еще у меня, верили, что во мне есть что-то хорошее».

Самое ужасное, мистер Холл, что Билл отказался даже от последнего слова... Он долго-долго обводил взором лица присяжных, судей, обвинителей, людей, собравшихся в зале...

Это было какое-то страшное представление... Потом он усмехнулся и сел на место, не сказав ни единого слова в свою защиту.

Я даже и не знаю, что теперь для него можно сделать... Он запретил адвокатам апеллировать в Верховный суд и отказался написать жалобу, сказав странную фразу: «Я нетерпелив, у меня осталось мало времени, надо успеть, только б скорее все началось».

Я боюсь за его разум.

До свидания, мистер Холл, не оставляйте в беде несчастного Билла.

Ваша миссис Роч».



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



1

«Дорогая Магда!

Как же я соскучился по тебе, красивая моя, надменная, умная и нежная сестра!

Вчера я занедужил, начались боли в области шейных позвонков, первый сигнал приближающейся зимы; пришлось вызвать массажиста, и он в течение полутора часов разминал мне сегмент. Наступило расслабление, я уснул, пока еще он продолжал работу, и мне пригрезился такой же сон, как в мае, когда мы с тобой ездили лечиться в Европу, в Виши: полет фламинго над кромкой океана. Боже, как давно это было!

Наутро я принял еще один массаж и сел на жесткую диету: ничего жареного, как можно меньше мяса, фрукты, фрукты и еще раз фрукты! Надоедает, конечно, жевать апельсины с лимонами, но чего не перетерпишь во имя того, чтобы ощущать себя полноценным, здоровым человеком!

Теперь по поводу дел. Поручи Шульцу как можно скорее связаться с Прайсом, другом генерала Лаутона, столь героически проявившего себя во время войны за Филиппины. Пусть он выяснит, какие компании будут

в первую очередь задействованы на бизнес в этом новом, столь для нас интересном регионе Юго-Восточной Азии. Этот вопрос нужно проверить и перепроверить самым тщательным образом, потому что речь пойдет о моем вложении капитала в тот регион. А я определяю его в пятьсот, а то и шестьсот тысяч долларов. Внимание, внимание и еще раз внимание, как бы не влезть в авантюру! Поскольку я пока что лишен возможности лично контролировать это дело, ты не спускай глаз с этого перспективного предприятия, оно того стоит!

Второе. Попроси нашу адвокатскую контору в Хьюстоне купить те земли, вокруг которых выются представители компаний, ставящих на минералы и полезные ископаемые. Пока что земля там еще не очень дорога, но пройдет три-четыре года, и цены подскочат в два раза, это уж как пить дать.

Третье. Пожалуйста, пришли мне мою качалку с нашего ранчо в Чимиктауне. Она стоит на застекленной веранде второго этажа. Я очень люблю отдыхать в ней после обеда.

Четвертое. У меня появился здесь милый знакомый. Он живет, конечно, не на нашем «банкирском» этаже, но часто меня навещает, потому что работает в аптеке. Его зовут Билл Сидней Портер. Человек этот в высшей мере занятен, он не делал ничего, чтобы завоевать авторитет среди моих нынешних соседей (если нет денег, то лишь авторитет дает здесь единственное право на выживание), и тем не менее пользуется совершенно поразительным уважением всех: начиная от начальника тюрьмы мистера Дэрби (мы с ним играем по пять часов кряду в шахматы, я выигрываю, он переживает) и кончая бессрочниками. Как ты понимаешь, начальник и так проникнут по отношению ко мне должным почтением; что же касается бессрочников и «тридцатилетников», то от них можно ждать всего. Когда они увидели, что мы с Портером на дружеской ноге, их отношение ко мне мгновенно переменялось, и если раньше меня звали отвратительной кличкой «кровосос» (здесь всем дают клички, это принято), то теперь меня называют «Ротшильд», что кажется обидным лишь плебсу, я всегда относился к барону с глубочайшим уважением, особенно после тех великолепных вечеров, которые мы провели вместе с ним в Лондоне.

Так вот, этот самый Портер пишет юморески, которые надо бы переправить в газетно-журнальные агент-

ства. Он скрывает свою работу от тюремной администрации, потому-то я и предложил ему оказию. Не сочти за труд поставить на конверте с его юморесками свой адрес и поручи кому-либо из наших служащих отправить это в агентство по продаже литературных произведений.

Да, совсем забыл. Телеграфируй нашему представителю в Женеву, чтобы он вошел в контакт с фирмой аукционеров «Сотби» и обязательно посетил их торги изделиями из золота и платины. Как мне стало известно, «Сотби» будет продавать довольно интересные бриллианты; посоветовавшись с надежными юристами и спецами, купи несколько камней. Самый дешевый (но не дешевле тысячи долларов) преподнесешь жене начальника тюрьмы Руф Дэрби ко дню ангела.

Я молю Бога о твоём благополучии.

Целую тебя, твой брат
Карно».

2

«Дорогой Ли!

Вот наконец я и пишу тебе из тюрьмы города Колумбус, вполне каторжной, глухой, тихой (кроме тех часов, когда провинившихся бьют палками; крики истязаемых разрывают мое сердце, но страшно не само страдание другого человека, а твое ощущение бессилия помочь ему). Мой номер теперь тридцать тысяч шестисот шестьдесят четыре. Я вытянул счастливую лотерею, так как назначен тюремным аптекарем. Я даже могу работать за тем столом, на котором хранятся порошки: от всех болезней в тюрьме дают легкое слабительное. Понос — слабительное, подагра — слабительное, изрубленная палками спина после экзекуции — слабительное.

Два раза в неделю у меня ночные дежурства. Это самые счастливые часы: никто не мешает работать. Да, да, да! Я здесь работаю упоенно! Спячка кончилась! Все определено! Мосты сожжены! Я обязан стать во имя Маргарет, и я это сделаю, иначе мне нет прощения, надо вешаться на той вонючей веревке, что мои соседи по корпусу пытаются делать раз в неделю как минимум. (Выживших сажают в карцер, бьют до потери сознания, а затем определяют в кухню, где никто не вы-

держивает более трех, от силы пяти месяцев. Там не до самоубийств, только б повалиться на койку, нет сил завязать узел, а уж на табуретку забраться вовсе невозможно, скорее бы в сон, в счастье отхода от действительности.)

Сюжеты у меня пока еще не кончились, так что есть о чем писать. Суди сам: когда в зале суда мне надели элегантные наручники и полицейский в штатском пристегнул меня к себе, как неверную жену, мы сели в поезд, чтобы следовать в Колумбус. Первой, кого я увидел в вагоне, была Лиз Патерсон из Гринсборо. Поскольку полицейский был одет в потрепанный костюм (он сам с Юга, был в молодости ковбоем, сейчас копит на аптеку, мечтает открыть ее возле станции), а я еще не успел сменить свою тройку на тюремный френч, Лиз стала щебетать о прошлом, про то время, когда я был лейтенантом пограничной стражи, и при этом выразительно глядела то на шерифа, что сидел рядом, то на наручники. Мой шериф (в каждом человеке есть святое) подтвердил Лиз, что я теперь капитан полиции и конвоирую его, страшного бандита, в тюрьму. Мне ничего не оставалось, как поддержать эту страшноватую игру. Я начал рассказывать доверчивой Лиз про то, как дни и ночи приходится гонять за налетчиками и грабителями, сочинил историю о каком-то шерифе Нельсоне Гарисоне, про то, как он, будучи смертельно ранен, тащил на себе женщину, отбитую у бандитов, как он развлекал ее разговорами, чтобы снять шок, который пришлось перенести бедняжке, как она влюбилась в него к концу дороги (я сделал ее дочерью миллионера, как ты понимаешь) и как она успокоилась, а потом втрескалась в могучего атлета и сказала, что готова с ним век прожить, а он, галантно поблагодарив ее за честь, умер. Лиз слушала меня зачарованно, а я более всего боялся, как бы она не спросила, отчего наручник одет на мою правую руку, — ведь детям известно, что на правую руку надевают кандалы лишь арестованным, полицейский должен иметь эту руку свободной, чтобы стрелять при надобности, но она, к счастью, не обратила на это внимание, и мы весело распрощались, и она пожелала мне продолжать «героическую деятельность по борьбе с организованной преступностью», а конвоировавший меня полицейский долго сморкался, качал голову, вытирал глаза носовым платком серо-коричневого цвета (видимо, достался в наследство от пра-

деда, высадившегося с первыми переселенцами, и с тех пор не стирального, мыло дорого), а потом спросил, нарочно ли я изменил фамилию Нельсона с «Лэйчена» на «Гарисон». Я ответил, что вообще слыхом не слыхал о таком полицейском, что это вымысел, на что он заметил: «Именно эта история произошла на моих глазах в Сиракуза-Сити двенадцать лет назад, и Нельсон Лэйчен действительно спас женщину, которую похитили, перестрелял трех бандитов, а четвертый, удирая, продырявил ему левое легкое, и он из последних сил держался, только б не помереть так жалостливо, как умирают в книжках, и рассказывал несчастной смешные байки, и она в него вlepшилась, как миленькая, а он, ясное дело, помер. Его мать, правда, получила хорошую страховку, да и отец этой бабы прислал старухе чек на пятьсот долларов, потому что действительно был миллионером, а эта придурочная ездила с сачками в прерии ловить мушек и бабочек».

Вот так-то...

...Когда дверь тюрьмы закрылась и с меня сняли тройку и дали серую форму, дежурный отвел меня к парикмахеру, которого здесь зовут «зверская морда». Он нарочно стрижет арестантов так, чтобы они выглядели придурками: кому оставит хохолок, кому обреет затылок — словом, делает все, что хочет, ибо он единственный человек из каторжан, которому тюремной администрацией дано право держать в руках бритву и ножницы (посадили его на тридцать два года за вооруженные ограбления).

Парикмахер, одетый в белую шелковую рубашку и цивильные брюки (он относится к числу тюремной аристократии, поддерживает дружеские отношения с «банкирами»: это те, у кого хорошие камеры; отбывают срок за то, что унесли из фирм, концернов или банков не менее миллиона, надежно спрятали и теперь ждут помилования, чтобы потом коротать жизнь в роскоши), поинтересовался, что бы я хотел видеть на голове: «хохолок по-венски», «каторжную шапочку» или «фазаний хвост». Я спокойно ответил ему, что сила, сообщенная личности оружием типа бритвы, преходяща, как сама жизнь, и что тюрьма должна роднить людей — это микромир, — а не разъединять их еще более. «Зверская морда» поинтересовался, не являюсь ли я проповедником и видел ли хоть раз револьвер перед носом, надежно разъединившим мир раз и навсегда, на что я ему

предложил дуэль, причем дал фору в семь шагов и полторы секунды времени, добавив при этом несколько слов по-латыни. Это последнее отчего-то привело парикмахера в трепет, и он учредил мне такую прическу, которую делают на Елисейских полях в лучшем салоне.

Месье Карно, то есть «номер 30774», осужденный за то, что взял из сейфа того банка, где он был директором, не миллион, а два, предложил мне свои услуги, чтобы отправлять написанные вещи его сестре в Нью-Йорк, а у дамы есть связи в литературном мире. Не знаю, приму ли я его предложение (если он попросит каких-то особых услуг от меня как аптекаря, я, естественно, откажусь, достоинство обязано быть абсолютным, особенно в тюрьме, где делают все, чтобы лишить тебя этого качества), но если приму, то не премину тебе об этом сообщить, и тогда ты будешь заниматься эссеистами одного только Западного побережья, а сестра каторжного банкира подразнит критиков на Востоке.

Очень жду весточки.

Твой «30664».

3

«Милый Уолт Порч!

Я был настолько ошарашен твоим посланием, что не сразу смог ответить. Да и сейчас я не очень-то понимаю, чем я тебя так прогневал. Я взял копию моего письма, перечитал ее и подивился твоему тону, полностью недружественности.

Прости за резкость, но мне сдается, что в тебе просто-напросто заговорила зависть. Мы вместе начинали, но я вырвался вперед на пару корпусов, в то время как ты остался у меня за спиной, бежишь враскачку, задыхаешься от лишнего веса и брюзжишь на все и всех. Нельзя так, Уолт, нельзя, эгоцентризм никого еще не поднимал к вершинам успеха.

Теперь по поводу моего рассказа в «Пост», который показался тебе эпигонством с опусов Портера... Я внимательно перечитал себя и поразился тому, что какие-то рудименты стиля м-ра Портера действительно появились в моей стилистике, что меня совершенно опрокинуло.

Не в моих привычках пускать случившееся по воле

волн; я вернулся к рассказам Портера (они высланы тебе вчера с утренней почтой) и заново просмотрел их.

Хотя в них действительно ощутима тяга к новому, но все равно я не могу согласиться с тобою в том, что этот господин может повлиять на качество нашей литературы. Нет, Уолт! Он будет печататься, в этом не приходится сомневаться, даже если другие «христопродавцы» решат его попридержать (кстати, ничего страшного не случится — чем больше литератор ждет, тем для него лучше; слабый сломается, сильный наберет сил), однако имя его не будет замечено широкой публикой потому хотя бы, что он прежде всего думает о себе, рекламирует свое всезнание, подменяет собою своих героев, конферирует действие и совершенно не работает со словом.

В симфоническом оркестре есть первая скрипка, но существуют ведь и фаготы. Значит, и они нужны, не так ли? Пусть он будет фаготом, я обещаю тебе — при случае — сказать свое слово в его поддержку.

Пожалуйста, подтверди получение рассказов м-ра Портера.

Смени гнев на милость.

Твой Грегори Презерз».

4

«Дорогая миссис Роч!

Я довольно долго колебался, прежде чем отправить эту весточку. Сначала я вознамерился писать Вам веселые послания про то, как любопытно мне в «Колумбусе», как много здесь того самого жизненного материала, который столь необходим человеку, рискнувшему взяться за перо, но потом решил, что это будет совсем уж грубая нечестность.

Как Вы понимаете, это письмо я отправляю не по официальному каналу, через цензуру администрации, но с оказией. Поскольку тюрьма, как и все наше общество, разделена на белых и черных, сильных и слабых, богатых и бедных, у меня здесь появился знакомый, банкир Карно, который пользуется привилегиями. Он-то и имеет возможность отправлять письма напрямую на волю, без чужого глаза.

К тому же сюда попал и мой давний знакомец по Гондурасу, «полковник» Эл. Дженнингс, который рабо-

тает в тюремной почте, — это второй «канал связи», который я теперь могу использовать.

Поэтому, коли мне не суждено выйти отсюда (человек ни от чего не застрахован), хочу, чтобы Вы, когда Маргарет вырастет, рассказали ей всю правду. И про то, как я был несправедливо осужден, и про то, что такое американская тюрьма, где жизнь человеческая ценится так дешево, как и представить себе нельзя. Администрация смотрит на заключенных как на бездушных и бесчувственных животных. Бывают недели, когда чуть не каждую ночь узники погибают, наложив на себя руки. Люди перерезают себе горло, вешаются... Если человек заболел и не может выходить на работу, его тащат в подвал и пускают на него мощную струю ледяной воды. Напор так силен, что человек падает, теряя сознание. Врач обязан привести его в сознание, беднягу ставят на ноги, связывают руки металлической проволокой и подвешивают к потолку. Так он висит час, два, три, исходя криком, пока, наконец, снова не теряет сознание. После этого надсмотрщик задает ему вопрос, не выздоровел ли он... На завтра человек снова выходит на работу; чаще всего там же, в цехе, падает в беспомощности, а уж его смерть от «хронического кишечного заболевания» мы затем оформляем вместе с доктором...

Я не стану писать обо всем том, чему свидетелем здесь стал, потому что описание жестокости не только не спасает от нее мир, но, наоборот, приобщает к ней, рождая чувство звериной вседозволенности сильного.

Поверьте, дорогая миссис Роч, я очень долго думал, прежде чем решился написать Вам это; больше я никогда такого писать не стану, но на меня нахлынул безотчетный страх; я испугался, что могу уйти, не рассказав Вам, самым мне близким людям, о том ужасе, который окружает каждого из нас. Большинство об этом не знает, но должно знать.

Пусть Вы, а потом Маргарет останутся хранителями той правды, которую я узнал; то, что знают пять, десять, двадцать человек, уже неистребимо.

Поцелуйте мою маленькую и передайте ей письмо, которое я вложил во второй конверт.

Остаюсь всегда Вам за все благодарным

Биллом Сиднеем Портером.

Мое письмо Маргарет должна вскрыть и прочитать сама.

«Моя любимая шалунишка Маргарет!

Как ты поживаешь?! Как учеба? Напиши мне обо всем большими, очень красивыми буквами самым подробным образом.

Мое путешествие продолжается успешно, работа идет прекрасно, настроение отменно. Совсем скоро я вернусь к тебе, но не один. У меня появился прекрасный друг, который утверждает, что он Домовой, а зовут его Алдибиронтифостифостифорстифорникофокс. Кстати, если ты увидишь падающую звезду и произнесешь мое имя (я имею в виду Домового) семнадцать раз, пока она не погаснет, то, отправившись в метель по дороге в то время, когда пунцовые розы цветут на лозе томата, в первом следе от коровьего копыта ты найдешь бриллиантовый перстень сказочной красоты. Попробуй.
Папа».

5

«Дорогой Ли!

Моя тюремная жизнь проходит не так монотонно, как может показаться тем, кто о судьбе заключенных судит по сообщениям, попадающим в прессу.

Поскольку у нас организовался «кружок», куда входит Эл Дженнингс и банкир Карно, то есть налетчик и финансовый воротила, новая информация стекается ко мне ежедневно.

Ты себе не представляешь, какие судьбы проходят у меня перед глазами...

Взять хотя бы Айру Маралата... Его звали «Тюремным дьяволом» за гигантский рост и яростный нрав. Год назад начальник тюрьмы (слава богу, его убрали) приказал построить для двухметрового, заросшего, буйного Айры клетку из-за того, что на него нападали приступы бешенства. Он жил в этой клетке как животное, и наиболее уважаемых граждан Колумбуса пускали в тюрьму, чтобы те могли полюбоваться на «изверга». (Говорят, прежний начальник брал за это деньги, хорошенькие экскурсии, а?!)

Но выяснилось — а сколько прошло лет, прежде чем это произошло! — что на самом-то деле Айра совершил подвиг, остановил вагонетку, которая неслась по рель-

сам на рабочих (сам он был шахтером), но его так ударило головой о металл, что бедняга потерял сознание и попал в больницу. Он был в беспамятстве восемь месяцев. С грехом пополам его поставили на ноги, память вернулась к нему, и он отправился домой, в свой маленький домик, который арендовал с женою Дорой. Однако в домике уже жили другие люди. Айра спросил, где Дора, а ему сказали, что хозяин ее выселил, потому что женщина не внесла очередной взнос. В сарайчике Айра нашел маленький сундучок, старое тряпье и бельевую корзинку с ленточками — так бедняки готовятся к рождению ребенка, колясочка слишком дорога для них... Айра отправился к тому человеку, у которого купил в рассрочку дом. Тот сделал вид, что не узнал его, потом сказал, что надо вовремя платить взносы, а затем признался, что действительно выселил его жену... Когда Айра спросил, где женщина, которая ждет ребенка, хозяин, заметив пришибленную покорность в облике великана, ответил, что его не интересует, куда ушла потаскуха. Айра перегнулся через стол, взял хозяина за шею и поднял над головой. Когда служащие оторвали Айру от хозяина, тот был мертв.

Разум несчастного снова помутился, но суд это не волновало: за «умышленное убийство» он был осужден на пожизненную каторгу. Так бы он и сгнил в металлической клетке, где, как животное, без прогулок жил зимой и летом, если б Эл Дженнингс не смог объяснить новому начальнику тюрьмы, что с душевнобольным человеком так обходиться негоже.

Айру отправили в госпиталь, обследовали, установили, что во время героического поступка, спасшего жизнь двадцати людям, у него случилась травма черепа, началась опухоль, которая давит на мозг. Сделали операцию, опухоль удалили, и он стал совершенно нормальным человеком, самым добрым и кротким узником... Видел бы ты, как он утешает смертников, как он пытался веселить их смешными, ласковыми историями, как он приносит им лучшую еду...

Чем можно помочь ему?

Мне совестно обращаться к тебе с очередной просьбой, дорогой Ли, но было бы славно, сочти ты возможным обратиться к президенту Мак-Кинли. Как всякий человек, отринутый судьбою от политики, я тем не менее неплохо ее ощущаю; сторонность порою более выгодна, чем непосредственное участие, не мешает суета,

все видишь издали, то есть объективно. Обращение по поводу Айры Маралата к президенту Мак-Кинли (может быть, стоит попробовать войти в контакт с его помощниками, они ж будут организовывать его следующую кампанию), возможно, даст какие-то плоды. Во всяком случае, попытка не пытка. Да и потом Мак-Кинли нуждается в чисто человеческом «жесте»: когда Америка все более и более превращается в империю, когда наши корабли вторглись на Кубу и Филиппины, когда мы намерены расширить свои границы до тех пределов, которые угодны большому бизнесу, приведшему Мак-Кинли к власти, помилование одного несчастного может весьма выгодно повлиять на тот образ, который тщательно рисуют политические портретисты из окружения президента.

Напиши мне, что у тебя нового на ранчо. Пожалуйста, пиши очень подробно, ведь каждое слово с воли, оттуда, где небо не лимитировано, а шаги во время прогулки не считаешь, кажется спасением, счастьем, надеждой!

Твой Билл Портер».

6

«Дорогой мистер Камингс!

Мне стало известно, что Вы принимали определенное участие в подготовке предвыборной кампании нашего уважаемого президента мистера Мак-Кинли.

Я — старый республиканец, фермер, ветеран освоения Дальнего Запада — не могу не отдать дань уважения энергичному направлению политики, проводимой ныне Вашингтоном.

Можно соглашаться или не соглашаться с внешнеполитическими акциями Белого дома, однако результат налицо, а победителей, как известно, не судят.

Но поскольку из всякого правила жизнь делает свои горестные исключения, то далеко не все могут радоваться расцвету американского бизнеса, протекция которому со стороны администрации принесла столь очевидные результаты. Особенно горестно положение тех, кто безвинно осужден и, таким образом, отторгнут от жизни общества.

Позволю себе выразить мнение, что всякий акт справедливости со стороны верховной власти, всякое проявление гуманизма бывают замечены обществом, причем порою значительно более быстро, чем все иные акции правительства.

В каторжной тюрьме города Колумбуса отбывает пожизненное заключение несчастный Айра Маралат, углекоп, спасший жизнь двадцати рабочим ценою страшного увечья — череп его был поврежден, он сделался беспомощным инвалидом и в состоянии аффекта убил человека, который, в свою очередь, осознанно и холодно убил его несчастную жену, оставшуюся без средств к жизни в то время, когда ее муж-герой лежал в госпитале.

Мистер Камингс, я рискну выразить уверенность в том, что великодушный акт президента, если он сочтет возможным поручить заново исследовать дело Маралата, принесет существенную выгоду тем, кто будет работать над будущей предвыборной кампанией.

Остаюсь, мистер Камингс, уважающим Вас

Ли Д. Холлом,
землевладельцем и республиканцем».

7

«Мой дорогой мистер Кинг!

Поскольку плебс любит представления, поскольку одно помилование даст возможность вынести десять приговоров (если они понадобятся), считал бы возможным просить тебя обсудить письмо землевладельца Холла с людьми президента.

Судьбу Маралата (ты прочтешь о ней в письме) вполне можно расписать так, что бабушки и дедушки станут плакать жемчужными слезами и слать письма с благодарностью президенту за его добрую душу.

Действительно, сейчас, когда демократическая оппозиция травит Мак-Кинли за «агрессию против Кубы и Филиппин, самое время начать подбрасывать в контролируемые нами журналы и газеты материалы «рожденственного профиля», про «бедных и обиженных» прежним режимом, но оправданных мудрым и добрым вождем республиканцев.

Кстати, такого рода акт милосердия по отношению

к несчастному, осужденному к тому же прежним составом суда при прежней администрации, хорошо повлияет на Юг, потому что, как я успел выяснить, новый губернатор Стайс, где в тюрьме столицы штата Колумбуса отбывает заключение этот самый Маралат, каким-то образом заинтересован в его судьбе. А именно в Огайо намечается ряд интереснейших разработок, связанных с энергетическими проектами на Миссисипи и Теннесси. Представители «Электрик индастриз», Максвэл и Дрол, обратились ко мне с предложением войти в состав Наблюдательного Совета, чтобы, по их словам, надежно осуществлять связь между администрацией штата и федеральным правительством. Ясное дело, они затевают нечто весьма серьезное, что нельзя протолкнуть без нашей поддержки. Отчего бы нам не принять в расчет и этот весьма немаловажный аспект вопроса?

Сердечно твой
Камингс».

8

«Дорогой Камингс!

Как всегда, ты хитришь. Но я убедился, что твоя хитрость приносит весомую выгоду стране. Промышленности. Мне и тебе. Почему бы в таком случае и не похитрить? Только в следующий раз сначала пиши о проекте «Электрик индастриз» и уж потом о безумном заключенном, в судьбе которого «заинтересован губернатор».

Словом, я дал ход письму этого самого фермера из Техаса.

Приветствую тебя дружески

Кинг».

9

«Дорогой Ли!

Даже не знаю, с чего начать! В моем маленьком мирке каждая новость кажется громадной, самой важной, не может быть важнее! Повесился Дикки из сто четырнадцатой камеры — тюрьма жужжит, как улей. Забили до смерти Вильяма за попытку к бегству — новый бум. Вышел на свободу банкир Гарри, перестук во всех

камерах, событие номер один, тема для разговоров на неделю, пока снова кто не удавится...

Но то событие, которое произошло с Айром Маралатом, до сих пор на устах у каждого.

Итак, по порядку. Начальник тюрьмы вызвал Айру к себе и сказал ему, что власти нашли его дочку, которую удочерили люди, состоящие в дружбе с губернатором Огайо, после того как его несчастная жена Дора умерла в пургу, под забором, с крошкой, завернутой в тряпье. Девушке теперь семнадцать, она главная красавица штата, со всей Миссисипи люди приезжают на нее любоваться. Более того, в архиве шахты нашли описание героического поступка Маралата, когда он спас жизнь двадцати рабочим, поплатившись за это своим здоровьем и жизнью несчастной жены. Все это дало возможность властям предержащим помиловать его после того, как он отсидел на каторге семнадцать лет, три месяца и два дня.

Маралату выдали отрез и кожу, портные сшили ему костюм и башмаки, и он вышел из тюрьмы — крадучись, опасливо озираясь по сторонам, как любой арестант, прошедший за каменными стенами почти половину жизни. Ему сказали, что дочке о нем ничего не известно; о «Тюремном дьяволе» она, конечно же, была наслышана, как и все жители Огайо, но девушка и представить себе не могла, что двухметровое заросшее чудище, содержавшееся в клетке, было ее отцом. Это повергло Маралата в страшную, недоумевающую тревогу, руки его тряслись, когда он прощался с нами, а в глазах стояли слезы... Он то и дело повторял: «Боже, как мне поступить, научи меня! Научи меня, боже, научи!»

Да, забыл тебе сказать, что в последний месяц перед освобождением тюремная администрация позволила ему завести в камере канареек, и он вышел на свободу с клеткой, в которой были две голосистые пичуги; он сам учил их мелодиям, они подражали ему и никогда не улетали от него, несмотря на то, что он постоянно выпускал их на волю...

Словом, он ушел из тюрьмы с канарейками и пятью долларами, как и полагается каждому освобожденному, и след его между тем простыл, ни слуху ни духу, хотя он обещал писать нам про свою жизнь.

Тогда решили обратиться к приемной матери его дочки, и Дженнингс уговорил начальника тюрьмы напи-

сать ей официальное письмо с вопросом, не появлялся ли в их доме «Тюремный дьявол».

Через два часа в тюрьму приехала девушка поразительной красоты и грации, дочь Маралата. Ей рассказали всю правду об отце.

Более всего узников потрясло и растрогало, как она рыдала, обвиняя тюремщиков, отчего они не сообщили обо всем заранее. Эти ее слова были для нас Великим Лекарством Надежды, дорогой Ли.

Оказывается, именно она, его дочь, несколько недель назад отворила дверь громадному седому старику с маленькой клеткой в руке, где сидели канарейки.

— Не хотите ли вы купить их за доллар? — спросил свою дочь Маралат. Он смотрел на девушку и плакал. Решив, что это какой-нибудь пьянчужка, девушка дала ему серебряную монету и ушла в дом. Одно только ее поразило, когда она закрывала дверь: ей послышалось, что старик сказал: «Прощай, моя маленькая Дора» (так девочка была похожа на свою родную мать, несчастную жену Айры!).

Дочь Айры потребовала, чтобы полиция немедленно нашла ей отца. Она получила хорошее образование, знала законы, но сердце ее не зачерствело от этого горестного знания.

Поскольку ее приемные родители являются друзьями губернатора, полицию подняли на ноги, но все оказалось тщетным...

И лишь спустя три недели, когда пошел снег с дождем, Маралат вернулся в тюрьму — больной, голодный, оборванный. Послали за его дочерью. Айра лежал в госпитале, на койке возле зарешеченного окна, весь обметанный лихорадкой, с высочайшей температурой, то и дело обрушиваясь в тревожное беспамятство. Девушка бросилась ему на грудь, стала шептать, что она его дочь, Мэри, молила Айру не умирать, рассказывала ему, как они теперь будут жить вместе, счастливо и долго...

Айра открыл глаза, в них были слезы счастья, он погладил лицо дочери громадными ладонями, которые никогда не знали радости отцовства, прошептал что-то доброе, закрыл глаза и умер...

Как всегда в нашей жизни, справедливость торжествует, но торжествует слишком поздно, когда и не нужна уж она, да и есть ли эта справедливость, коли

жертва не смогла воспользоваться ее плодами? Лишь то угодно Судьбе, что приходит в свое время. Лишь то нужно людям, что успевает к тому моменту, когда ждут. Если бы я решился когда-нибудь описать эту судьбу, я бы обязательно сделал так, чтобы справедливость восторжествовала через год-два, но ведь это невозможно, поскольку Мэри не могла бы понять, что седой великан с канарейками — ее отец... Маленькие дети боятся заросших великанов в скрипучих тюремных башмаках (их у нас специально шьют скрипучими — на случай побега; надсмотрщикам легче нести караульную службу; бедняга Дженнингс решил бежать и был схвачен именно из-за проклятых башмаков, заплатил за это карцером и битьем палками над желобом, по которому сливают кровь, оставшуюся после экзекуции «воспитательного характера»). Так что рассказ невозможен, ибо в нем будет нарушена великая традиция времени, места и действия. А если бы и был возможен, я бы все равно не стал его писать... Не могу я писать про тюрьму, и все тут, потому что на свободе, даже когда смерть смотрит тебе в лицо, остается шанс на спасение. Здесь этого шанса нет. Его у тебя отнимают в тот миг, когда за тобою заворачиваются страшные, автоматические, стальные двери...

...Я то и дело вспоминаю туманный день в Сан-Антонио, куда стали приезжать люди, больные тем страшным недугом, который отнял у меня Этол. Я вспоминаю трагедии, которые разыгрывались у меня на глазах, когда те, кто убоялся верить, предпочитали яд борьбе за жизнь. В голове моей складывается рассказ про то, как Судьба все же умеет быть милосердной к слабым, но, увы, за счет тех, кто силен духом, Добр и Высок.

Дорогой Ли, сжигай все мои послания, молю тебя! Больше всего на свете я боюсь памяти. Как только (и если) я выйду отсюда, Колумбус должен исчезнуть из моей жизни, словно лет, проведенных здесь, и не было вовсе. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит меня, как я сидел на каторге, я брошусь с моста, потому что отверженность, ее страшный смысл понятен лишь тем, кто был отверженным.

Жду весточек.

Твой Билл».

«Уважаемый мистер Грегори Ф. Презерз!

Возвращаем письма, отправленные Вами м-ру Уолту Порчу, в связи с тем, что он выбыл и по указанному адресу не проживает более.

С уважением

почтмейстер Конрад У. Стаун».

11

«Уважаемый почтмейстер Конрад У. Стаун!

Был бы весьма благодарен, найди Вы возможность выяснить новый адрес литератора и эссеиста Уолта Порча.

Ответ заранее оплачен.

Надеюсь на Вашу любезность.

Искренне Ваш

Грегори Ф. Презерз, литератор».

12

«Уважаемый мистер Грегори Ф. Презерз!

С прискорбием должен сообщить, что мистер Уолт М. Порч не менял адреса в привычном смысле этого слова, но умер, покончив жизнь самоубийством (отравился газом).

Искренне Ваш

почтмейстер Конрад У. Стаун».

13

«Дорогой Ли!

Да здравствует тюрьма, лучшее сюжетохранилище мира!

Нет, правда! Я замечаю, что в умных книгах, посвященных теории литературы, прежде всего разбирают Язык произведения и Характеры, в нем выведенные. К Сюжету отношение вполне второстепенное, в то время как Слово, то есть Идеи, создающие Характеры, нигде не проявляются так точно, как в Его Величестве Сюжете! Разве б человечество зачитывалось Шекспиром, не

будь интересна фабула его вещей? А Гюго? Бальзак? Мопассан? А Диккенс? (Конечно, из каждого правила можно найти исключения — Монтень, Кампанелла, Руссо. Но ведь это Проповеди, Новое Откровение, Катеизис Бунтующего Разума.)

Сюжет — я имею в виду истинный Сюжет, а не графоманство — невозможен вне Слова, то есть Идей, воплощенных в характеры.

Ребенок не станет слушать скучную сказку. Ему потребен Сюжет.

Ребенок не станет слушать корявую сказку. Он внимлет Слову!

Вот так.

Изволь, последний пример по теории «сюжетологии». Лихие парни нашли в Территории несколько серебряных месторождений, застолбили их, задарма продали заявки «Скотоводческому банку» (получили сорок тысяч баков вместо двухсот), переселились в город, попили пару недель и решили чем-то заняться. Первый (его звали Джо) говорит второму (того звали Эд), что, мол, надо стать филантропом не только потому, что это модно, а оттого, что налоги не берут и вообще под это дело можно раскрутить серьезный бизнес. Ну и решили открыть университет, дав ему свое имя. Напечатали объявления, пригласили преподавателей, густо повалил студент, накупили книг для библиотеки, стали самыми уважаемыми людьми в «городе науки», а потом глянули на свой банковский счет и обмерли: там осталась всего пара тысяч! Эд говорит Джо, что пора давать деру, повеселились, и хватит, а Джо ответил ему, что это бесстыдно — бросать в беде доверчивых питомцев, и вызвал из столицы какого-то академика, звезду математического небосклона, положив ему пятьсот баков в месяц. Эд бушевал, клял филантропию Джо, оставившую без средств к существованию, уверяя друга, что за триста баков в месяц он и сам бы преподавал алгебру с геометрией не то что студентам, а самому Исааку Ньютону, но Джо молчал, вздыхал, а по вечерам ходил в игорный дом, который только что открылся. Там, объяснял он другу, можно по-настоящему понять характер и студентов и профессоров. Так прошел еще месяц. Эд снова пошел в банк и увидел, что деньги кончились совершенно. В панике он бросился искать Джо, два часа мотался по городу и смог встретиться с ним поздней ночью в задней комнате игорного дома, где Джо прятал

в саквояж пачки долларов, разделенные на три кучи: одну — себе, вторую — Эду, а третью — молчаливому крупье. Перед тем как нанять экипаж, чтобы дать деру из благодетельствованного филантропами города, Эд ворчливо поинтересовался, отчего крупье получил так много. Джо разъярился, что крупье и есть та математическая звезда, которая получила за консультации пятьсот баков и в течение месяца дала доход в сумме пятьдесят тысяч баков, обыгрывая алчных преподавателей и доверчивых студентов.

Как ты догадываешься, попался умный Джо. Дуракам везет. Эд пишет ему сюда веселые письма и говорит, что ведет переговоры с Арканзасом об открытии колледжа, как только Джо закончит пятилетний курс наук в Колумбусе.

Джо, однако, посоветовал ему переговоры прекратить, потому что все свободное от работы в котельной время он посвящал чтению. Именно в литературе прошлого века он почерпнул сюжет для нового бизнеса, который вознамерен начать, как только окажется на свободе.

Вчера он пришел ко мне с книгой, в которой описывалась история Катрин Дезейе, специализировавшейся при дворе Людовика на организации «черной мессы». Знаешь, что это такое? О, невероятная штука. Сбесившиеся от жира дамы двора, лишённые каких бы то ни было забот, занимались лишь тем, что денно и нощно утоляли жажду плоти.

Катрин Дезейе принимала аристократок королевского рода, герцогинь и прочих баронесс, брала с них по полста тысяч франков (золотом), велела раздеваться, клала голенькими на алтарь, затем входил расстриг-священник с младенцем, купленным в кварталах у бедняков, резал несчастному горло и поливал кровью грудь клиентки в то время, как та высказывала свои желания. Затем запекшуюся кровь дитя оформляли в облатки и давали просительнице: прием утром, после еды, запивать теплой водой! (Мне холодно стало, оттого что все это происходило всего двести лет назад!)

Джо — человек бизнеса, младенцев резать не собирается, да и человек добрый. Он дал указание компаньону по филантропии начать кампанию в южных штатах, где особенно много нуворишей, чтобы заинтересовать их «опытами» доктора Ворса (это он себе придумал такой псевдоним), который через два месяца

возвращается из Тибета, где проходит курс обучения в монастыре по узкой специальности: «Гарантия верности мужа и совершенно надежный отвод соперниц. Для девиц — организация свадьбы с желаемым объектом в течение трех месяцев».

Джо пригласил меня в дело, предложив помудрить с лекарствами; обещал за это пятую часть прибыли.

Я с благодарностью отказался, чем немало его удивил.

Естественно, интересно узнать, как он намерен раскрутить свою колдовскую индустрию.

«Нет ничего проще, — ответил Джо. — Как и всякий бизнес, этот, колдовской, не имеет права на экспромт. Все надо поставить на деловые, научные рельсы. Эд должен «размять» десяток городов на Юге, завязав широкие связи в каждом салуне, в каждой аптеке и отеле. Это есть «материал для анализа». Причем анализировать должен я, Эд такое наанализирует, что все дело, не начавшись еще, полетит в тартарары. Из полученных данных надо отобрать пару матрон, которые бесятся с жиру, вроде Людовиковых аристократок. Желательно, чтобы кандидатки были с восточного побережья, из богатых семей, на Дикий Запад приехали недавно, ну и, конечно, что такое заработать детям на кружева (не то что на хлеб), понятия никогда не имели. Такая матрона более всего озабочена следующим: а) выслеживает мужа в рабочее время, б) хочет навсегда оградить себя от дурного глаза, в) намерена выдать замуж дочь за Д. С. В. Рокфеллера и г) получить наследство от дальнего родственника, разбогатевшего на Кубе. Эд обязан войти в корыстный контракт с почтмейстером и узнать адреса всех корреспондентов матрон. Важнее всего узнать подруг, ибо никто так не предаст друг друга, как женщины, состоящие в приятельстве. Обнаружив их, Эд обязан отправиться в те города и фермы, где они проживают, представиться коммивояжером по распродаже туалетов мадам Помпадур, в процессе рекламы и последующей торговли по образцам выяснить об интересующей нас матроне все, что только удастся, а дальше дело техники».

Как ты понимаешь, «вопрос техники», то есть подробность, самое для меня интересное, но все жулики отчего-то с неохотой про это говорят. Сначала я думал, что они скрытничают, а потом понял свою неправоту.

Как истинные профессионалы, они считают совершенно неинтересной свою работу. Их всегда удивляет, отчего же я, неглупый вроде бы человек, не могу уразуметь телячий смысл наипростейшей комбинации.

«Техника отработана здесь, — ответил Джо, постукав костяшками пальцев по переплету книг. — Вы пишете матроне письмо, в котором остерегаете ее от того, чтобы она выходила на улицу пятнадцатого числа с двух до трех, потому что несколько месяцев назад ей приснился сон про то, как она копает землю, а в земле черви и она кидает червей на свою племянницу Сузи... Естественно, матрона сидит дома с двух до трех, и в это время Эд стучится в дверь и спрашивает, какую бахромку пришивать на гроб, заказанный ею позавчера вечером... Вот и все, матрона ваша, птичка в клетке». В клетке? Отчего? Почему «естественно»? Зачем ей помнить сон месячной давности, да и был ли он?» Джо вздохнул: «Так ведь это рассказала подруга, разве не ясно? Матрона писала об этом, подруга помнит, потому что это сон к смерти, все ждут, затаились...»

И все-таки я не мог понять, что последует за этим психологическим пассажем, — слишком для меня мудрено все это.

Джо объяснил — без всякого интереса, так сапожник-виртуоз говорит про свою работу, — что в следующем письме матроне, обьятой ужасом после визита гробовщика Эда, он оставляет свой адрес и делает постскриптум: «Готовый к услугам врач-экспериментатор Ноэль Дуримаба-Бамба...» Через час пичужка будет оттапливать портье в пансионате с криком: «Пустите меня к Дуримаба-Бамба!». Ее пустят (портье взят на содержание, тридцать баков в месяц, ибо выучит несколько фраз про то, что «мистер Дуримаба откажется помочь вам, если вы начнете говорить о цене за визит. Положите, причем незаметно, пятьдесят баков в конверте на стол и начинайте излагать просьбу...»). Матрона входит. Я — в чалме, а дело — в шляпе. Вот и все...»

Я снова не понял.

Джо посмотрел на меня как на убогодочного ребенка и объяснил, что он скажет матроне, какое она вскоре получит известие (об этом узнает Эд, просмотрев корреспонденцию от подруг с помощью почтмейстера), и та, прочитав назавтра письмо приятельницы, решит, что вы посланы ей богом. Об этом узнают все остальные матроны, успевай принимать клиентуру; потом включают

фармакологию (цена за пилюли вполне сносная, не более двадцати баков за пять штук). Если бы я вошел в его предприятие и покрасил каждую таблетку слабительного в желтый и красный цвет, он бы платил мне двести долларов в месяц...

И все-таки я отказался, хотя так мечтаю послать Маргарет к рождению пятьдесят долларов...

Подожди, меня срочно зовут в лазарет, допишу, когда вернусь...

...А дописывать нечего... Повесился «Джим-кукольник» из двести тринадцатой камеры... Искусственное дыхание не помогло... На столике оставил записку: «А вот теперь-то я навсегда свободен и от вас всех, и от страха!»

Пиши чаще, Ли!

Твой Билл».

14

«Дорогая миссис Роч!

Билл прислал мне пятьдесят долларов, заработанные им, чтобы я передал их Вам для вручения Маргарет на рождество.

С радостью выполняю его просьбу.

Прилагаю конверт, погашенный в Барселоне, так что это вполне подтвердит девочке, что папа находится в интересном, далеком путешествии и постоянно о ней думает.

Через моих друзей я выяснил, что Билл чувствует себя хорошо, условия в Колумбусе отменные, он много работает, надеясь на скорую встречу с Вами.

Искренне Ваш

Ли Холл».

15

«Хай, Джонни!

Как дела? Что молчишь? Неужели тебе нечего сказать братцу, закатившемуся на каторгу, словно на вечный карнавал, но без переодеваний? Как Па? Я чертовски по вас соскучился!

У меня все по-старому. Билл Портер назначил курс

против ревматических болей, я помолодел на десять лет, даже баб стал видеть во сне, а больным их не показывают, им все больше облака, да птичек в кушах, да дедушек с бородами...

Рэйдлер, правда, заваривал кашу, но, думаю, все рассосется. Помнишь, я рассказывал тебе про Фолли, карманника из Нью-Йорка? Боевой парень, ни карцера не боялся, ни палок. Отсидел срок, освободился, прислал Биллу письмо, что, мол, вернулся в Нью-Йорк, нашел свою старенькую тетушку, та разревелась, пришлось придумать сказочку про то, что три года провел в путешествии по музеям Рима и Флоренции (или Неаполя? Я всегда путаю, где там у макаронников расположены музеи), и дать старушке слово, что более никогда от нее не отлучится. В тот же вечер, надев костюм и подбрав усы, отправился в город, купил билеты в театр, принес их старушке, та кинулась наряжаться, а он, нетерпеливый, сказал, что будет ждать ее внизу, на улице, под фонарем. Ну ладно, ждет, а тут к нему подваливает фараон и говорит, что, мол, гад, рано ты еще вышел щипать карманы, не стемнело, пойдем, говорит, в участок, нечего тебе коптить небо в центре города... Фолли божится, что завязал, ждет тетушку, идем, мол, в театр смотреть, как девки скачут и рычат, а фараон гнет свое: «В участок, там разберемся, ворюга недобитая». А Фолли не терпел, когда его обижали, я ж говорю, он себя в тюрьме блюл, как на папском конкордате Ватикана. «Я освободился подчистую, — повторил он фараону, — уйди от меня, не то рассержусь». Тут фараон поднимает дубинку и смеется: как, мол, интересно, ты умеешь сердиться? После тюрьмы люди перестают сердиться, они становятся спокойными и послушными. Ну и огрел для пробы Фолли по носу. Тот умылся кровью, достал из кармана браунинг и жажнул пять штук в брюхо фараона. Тот остался жить, легко отделался, а Фолли оттащили в суд и закатали еще тридцать лет, а у него и без того чахотка в последней стадии, ну, мы и решили пустить шапку по тюремному кругу, чтобы собрать ему на лекарства и дополнительное питание. Каждый узник давал по никелю, Билл Портер внес доллар, а миллионщик Карно отказался дать и цент. Рэйдлер как услышал про это, так и попер на него, мол, сколько миллионов унес в клюве, сколько сирот оставил голодными, сколько бедолаг с небоскребов покидалось на мостовую! А тот хнычет,

что он финансист и не намерен поддерживать мерзкого карманника. А Рэйдлер на него с кулаками, а я между ними, за драку тут полагается карцер. Правда, Карно это не касается, миллионщик, а нам гнить в мокрухе, а потом харкать кровью. Ладно, развел я их, а потом рассказал Портеру, а Карно вокруг него ходит лисом, ведь Билл — главный человек в тюрьме, к нему все идут за правдой, он здесь как Верховный Судья. Билл пожал плечами, а потом сказал, что больше не намерен видеть Карно и отлучает его от себя навеки. Что тут стало с нашим финансистом! Как он плакал и унижался, как клялся, что не понял, о каком Фолли идет речь, как совал деньги и обещал помочь ему, вплоть до освобождения из-под стражи через два года! А Портер ему на это сказал, что суть не в досрочном освобождении, а в том, что человек, отбывший наказание в тюрьме, все равно в нашем вшивом обществе остается парией, даже решив стать на путь труда и благородной бедности. «Если бы родители относились к детям так, как наша власть относится к людям, вольно или невольно преступившим черту закона, — сказал Портер, — тогда бы вся Америка стала страной бандитов. Умение прощать — главное достоинство умных родителей, а еще более важно забывать прошлое, если оно действительно стало прошлым, то есть не угрожает будущему. Власть должна подражать умным родителям, если мы надеемся хоть как-нибудь превратить страну в большую, добрую семью».

Тут Карно сделал еще одну ошибку, нажав на большую мозоль Билла, ибо предложил ему написать цикл очерков о проблеме вины, наказания и тюрьмы.

Портер аж побледнел: «А какое я имею отношение к вине и наказанию, мистер Карно? Я не считаю возможным быть фиксатором тюремных передраг, поскольку меня не намерены выставлять кандидатом в губернаторы, да и потом, у меня нет дяди-миллионера, который бы покупал мне бумагу и карандаши! Я вижу свое призвание в другом, и никто не вправе обсуждать это мое призвание потому лишь, что оно — мое, как и жизнь, которой я распоряжусь так, как мне подскажет достоинство и совесть».

Тут Карно попер цитировать старого француза, который заварил в Европе кашу (то ли Руссо, то ли Вольтер, я их путаю), Портер ответил ему на латыни, тот перешел на немецкий, а Портер начал чесать на

французском, тешились так с полчаса, потом кое-как примирились, но что-то между ними пролегло такое, чего уж не переступишь.

Ладно, Джонни, давай рассказывай о своем житье, но только чего посмешнее, тут своего дерьма хватает, хочется чего повозвышенной!

Остаюсь твоим братом Элом Дженнингсом».

16

«Многоуважаемый мистер Камингс!

Хочу порадовать Вас сообщением о том, что я (с компаньонами) открыл институт «Исследования критических ситуаций, советы, помощь действием». Не скрою, предложений поступает огромное количество, в основном от женщин, которые обеспокоены времяпровождением мужей.

Среди клиентов есть дамы, имена которых Вам хорошо известны, ибо мужья являют собой цвет страны.

Поскольку я считаю себя обязанным Вам за то участие в моей судьбе, которое Вы столь добро проявили, готов оказывать Вам и впредь любые услуги.

Примите, уважаемый мистер Камингс, уверения в совершенном почтении,

Искренне Ваш

Бенджамин Во,
Президент фирмы «Исследование критических ситуаций
инкорпорэйтед».

17

«Уважаемый мистер Во!

Рад Вашим успехам.

Убежден, что, как и раньше, Вы будете руководствоваться в Вашей служебной деятельности Законом и Джентльменством.

Лишь святое служение Духу и Букве нашей Конституции может помочь Вам развернуть Ваш бизнес не только на уровне Штата, но и в столице.

В ближайшее время к Вам придет один из юристов, который даст Вам ряд советов и обменяется соображениями по всем интересующим Вас вопросам.

Искренне

Камингс».

«Любимая сестренка!

Как ты поживаешь, ненаглядная, нежная Магда? Уже три дня не было от тебя писем, а мне кажется, что прошла вечность с тех пор, как я разговаривал с тобой... Да, именно так, разговаривал, ибо я слышу твои интонации, когда читаю твои письма, слышу твой смех, вижу твои лукавые глазенки и ямочки на румяных щечках...

Солнце мое, пожалуйста, немедленно, подчеркиваю, немедленно поручи Шульцу связаться с представителем «Фуд корпорэйшн». Эта фирма поставляет продукты нашей богадельне. Пусть Шульц скажет им, чтобы не валяли дурака! Билл Портер, принимающий продукты, рассказал, что в них слишком много червей, и грозился устроить скандал. Мы-то здесь живем привилегированно, и нам, как понимаешь, привозят отменную еду. Портер относится к числу тех людей, которые могут закусь удила.

А у нас с тобой акций этой самой «Фуд корпорэйшн» примерно на сто двадцать тысяч баков.

Понятно, я пока что погасил этот скандал, предложив Портеру написать разоблачительную статью, пообещав переправить ее через тебя в газеты... Не удивляйся, именно так следует поступать с людьми его норова. Попроси я его промолчать, он бы взбрыкнул, как норовистый конь, конец отношениям... Я, наоборот, гневался и пускал пену, говорил, что его подвижничество, которое неминуемо приведет его в одиночку и карцер, станет примером для остальных заключенных. Тут в дискуссию включился «гном», Эл Дженнингс, которому Портер дал кличку «полковник»: «На кой черт Биллу гнить в карцере?! Его оружие — рассказ, а не статья про червивое мясо! Сами пишите, сами садитесь в карцер!» Знаешь, когда трое, всегда можно избежать конфликта. Самое страшное, если друг другу противостоят двое, это как в неудачном браке, разрыв неминуем, трагедия неизбежна.

Словом, Портер, которому недолго уже осталось здесь пытеть, испугавшись того, что его упрячут в подвал, а то и еще срок добавят, отступил. Мой план сработал, я ж пока в интригах подобного рода, но вместо Портера может прийти другой, не имеющий призвания к изящной словесности и поэтому не берегущий себя

для любимого дела, — тогда возможен скандал, который грозит нам крупным убытком.

Так что пусть Шульц срочно действует. Скажи, что в бизнесе блефовать можно и должно, но до определенных пределов. Если преступишь грань, можешь не до считаться зубов, а протез дорого стоит.

Как идет ремонт нашего маленького замка в Колорадо? Пожалуйста, не разрешай делать лепные потолки, я буду чувствовать себя как в Версале, а мы с тобою не аристократы, но истинные республиканцы.

Обнимаю

твой брат Карно».

19

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, перешли в ряд боевых газет те документы, которые я тебе высылаю с этим письмом о том ужасе, который может свершиться в Колумбусе: казнят ни в чем не повинного человека!

Я не могу доказать этого, оттого что лишен права голоса и мысли; я человек «без чести», каторжанин и расхититель. Однако в отличие от многих других (это не хвастовство, поверь) я, как литератор (какой-никакой), чувствую правду кожей, глазами, ощущаю ее в воздухе, она снится мне, я раздавлен ею, как нервная женщина — предчувствиями. Я прекраснейшим образом отдаю себе отчет в том, что это не довод для служителей Фемиды, не человек важен им, а корявые строчки свидетельских показаний и очных ставок. Но, Ли, верь мне, грянет такая несправедливость, которая породит много других несправедливостей. Впоследствии тот же мертвый закон так же мертво осудит на позор всех тех, кто — следуя его мертвой букве — привел невинного мальчика в камеру смертников. Одна несправедливость, санкционированная властью, родит десятки других. Общество может содрогнуться, устои окажутся непоколебленными — вот что такое одна «государственная несправедливость». А если представить себе, что среди родственников того, кого потом, когда истина запоздало восторжествует, накажут, может появиться маленький Лютер, Джефферсон или Робеспьер, то на дрожжах этой несправедливости расцветет философия отщепенца,

которая чревата новой гражданской войной, штурмом Бастилии, очередным Термидором...

Убери с документов и показаний заключенных упоминание моей фамилии. Пожалуйста, сделай это. Купируй в письме Эла Дженнингса мою фамилию и отправь с сопроводительной памяткой одного из крепких адвокатов в газеты. Уверяю тебя, среди репортеров найдется человек, который может дать ему имя, а имя — это деньги, то есть независимость.

Ли, сделай что-нибудь!

Твой Билл Портер».

20

«Дорогой Па!

Я не стал бы беспокоить тебя письмом о моем деле, ты уж и так достаточно хлебнул горя из-за непутевого сына. Но сейчас я сделался свидетелем такого ужаса, который ранее за всю мою жизнь был неведом, а поскольку мне, как заключенному, вменено в обязанность составлять протокол агонии приговоренных к смертной казни на электрическом стуле, я — хоть и косвенно — стану соучастником преступления.

Следовательно, молчание невозможно, ибо преступно.

Конечно, Па, ты можешь подумать, что я снова загибаю, хочу выдать холодного убийцу за несчастную жертву. Нет, в данном случае не я один убежден в полной невинности осужденного, но все узники Колумбуса.

Поскольку ты судья, а я бывший адвокат, позволю себе изложить историю подробно.

В камеру смертников был посажен молодой парень по имени Кид. Его глаза смотрели на всех по-детски доверчиво, а лицо было дружелюбным и мягким. Обвиняли его в том, что он зверски и преднамеренно утопил своего друга. Кид категорически отрицал свою вину. Я знаю, как умеют преступники играть невинность, и поэтому, пользуясь должностью секретаря начальника тюрьмы, сделал так, что Портер, не только истинный джентльмен, но и писатель, чьи рассказы рано или поздно составят славу Америки, был допущен к смертнику во время прогулки.

Когда он вернулся ко мне после этого свидания, ли-

цо его стало желтым, на лбу появилась испарина, а сильные пальцы были так сцеплены, что даже ногти впились в кожу.

«Я думал, что это мужчина, но ведь он ребенок, — сказал Портер. — Ему, оказывается, всего семнадцать лет, понимаете?! Он невиновен, поверьте мне! Он убежден, что в последнюю минуту произойдет что-то неожиданное и его обязательно спасут! Господи, можно ли верить хоть во что-то хорошее на этой земле, где совершаются такие преднамеренные, хладнокровные, злодейские убийства! Этот мальчик невиновен! У него ласковые голубые глаза, такие глаза бывают только у честных детей! Сделайте что-нибудь!»

А что я могу сделать, Па? Что? Отсюда, из-за тюремных стен, каторжанин ничего не может сделать, ибо он обречен на полное недоверие нашего паршивого общества!

Вот фабула дела: в воскресный день Кид и его друг, тоже семнадцатилетний парнишка Боб Уитни, пошли на реку. Кид вернулся домой один, Боб пропал. Через три недели в низовьях реки выловили тело утопленника. Лицо его было изъедено рыбами, но родители, осмотрев тело, опознали сына по родимым пятнам, смутно угадывавшимся на ногах покойного.

Кида арестовали. Три свидетеля показали, что они своими глазами видели Кида с парнем его же возраста на берегу реки, которые то ли дрались, то ли ссорились, и вроде бы Кид крикнул: «Я тебя, гада, утоплю!»

На основании этих показаний мальчишка приговорен к смертной казни на электрическом стуле.

Я спросил его: «Как все было?»

Он ответил: «Все было так, да не так. Я действительно пошел с Бобом купаться и загорать, но только долго лежать на солнце скучно, мы начали возиться, бегать друг за другом, играть, одним словом, Боб одолел меня; оседлал, как коня, а я, вырвавшись, крикнул: «Ну, погоди, сейчас я тебя за это утоплю!» И поволок Боба за ногу к воде. А потом я оделся и пошел в город — я ведь уже работал, надо было жить на что-то, родных нет, а кто сестренку будет кормить? А Боб исчез».

Вот и все. На основании трех свидетельских показаний и обезображенного трупа Кида убьют — по закону, с соблюдением формальностей, а я составлю рапорт о том, сколько времени его была агония, кричал ли он,

сопротивлялся, плакал, просил о помиловании или же был в состоянии прострации.

Па, ты обязан сделать что-нибудь!

Я ведь не говорю, что меня неверно отправили на каторгу. Я говорю только, что меня не имели права катать на пожизненное, а против пяти лет я не возражаю, закон есть закон, я его маму видел кое с кем в гробу после поминок.

Когда меня взяли, я не просил тебя о помощи, ибо знал свою вину.

Сейчас я прошу тебя о помощи, оттого что знаю невиновность Кида.

Твой сын

Эл Дженнингс».

21

«Дорогая и любимая Маргарет!

Как я рад твоему письму!

Как прекрасен твой почерк!

Ты умеешь писать значительно красивее, чем я. Боже, я испытываю зависть к моей любимой Маргарет!

Неужели ты так же лихо решаешь задачи по математике? Если «да», то я разрываю контракт с моими компаньонами, бросаю Рим и возвращаюсь домой, потому что ты вполне сможешь обеспечить безбедное существование не только себе, но и мне, твоему старому, больному, тридцатишестилетнему отцу, который, продолжая дружбу с Домовым, прилетает к тебе на чудокрове каждую субботу в двенадцать часов семьдесят девять минут в образе пушинки и проводит возле твоей кровати ровно два часа. Ты помнишь меня? Однажды ты открыла глазки, взяла меня на ладошку, дунула, и я вознесся к темному потолку, счастливый оттого, что побыл рядом с тобою и ощутил тепло твоей руки.

А еще я видел на улице Рима, что ведет к Капитолию, трициклет. О, это чудо-машина будущего! Три колеса, сиденье и моторчик — тридцать миль в час! Я не мог поверить своим глазам до тех пор, пока сам не научился управлять. Это прекрасное ощущение! Когда я вернусь, мы станем с тобою кататься на трициклете по дорогам вокруг Питтсбурга.

Надеюсь, ты по-прежнему не обижаешь бабушку?

Домовой просил передать тебе привет.

Гном, который не расстается со мною ни на минуту, поселившись в кармашке для носового платка, шлет тебе рисунок, на котором изображает Папу и Дочь во время игры в жмурки.

Целую тебя, Человечек!

Папа».

22

«Дорогой мистер Роуз!

Прошу Вас не удивляться этому письму.

Действительно, я никогда не посылал Вам ни единой рукописи из тех, что попадают ко мне от начинающих литераторов, однако рассказы Билла Сиднея Портера, которые в свое время направил мне для консультации столь трагически ушедший Уолт Порч, являются своего рода событием в нашей литературной жизни.

Я считаю своим долгом рекомендовать их к публикации, ибо в них есть свой стиль, своя форма мышления, свой подход к теме.

Не скрою, поначалу я не понял стиль м-ра Портера, и лишь по прошествии времени, а особенно когда нас покинул несравненный, честный и талантливый Уолт Порч, я все больше и больше проникался сознанием того, что эта проза, хоть и отличающаяся от моей самым кардинальным образом, тем не менее имеет право на свое место под нашим литературным солнцем.

Искренне Ваш

Грегори Презерз».

23

«Дорогой мистер Презерз!

Для моего литературного агентства была большая честь получить от Вас новеллы молодого неизвестного автора Билла Сиднея Портера.

Мы с радостью начнем публикацию его новелл, однако нам срочно необходим адрес м-ра Портера, чтобы мы могли соответствующим образом оформить наши отношения и оговорить условия оплаты.

Нам, как и Вам — высочайшему ценителю стиля, — понравились рассказы своей новизной, любопытным стилем и уважительным доверием к читателю.

Сердечно благодарим за столь доброе отношение к начинающему автору.

С нетерпением ждем Вашего ответа.

Искренне Ваш

Самуэль Роуз,
директор «Роуз паблишинг хауз».

24

«Почтмейстеру Конраду У. Стауну.

Многоуважаемый мистер Стаун!

Был бы бесконечно Вам признателен, если бы Вы нашли возможность сообщить мне, где находится ныне архив незабвенного Уолта М. Порча.

Ответ оплачен.

Искренне Ваш

Грегори Презерз, литератор».

25

«Многоуважаемый мистер Презерз!

Все бумаги мистера Уолта Порча после его трагической кончины были вывезены на свалку хозяином пансионата перед началом ремонта его номера, который в течение семи лет занимал покойный.

С глубоким уважением

Конрад У. Стаун, почтмейстер».

26

«Уважаемый мистер Роуз!

Пересылаю Вам мою переписку с почтмейстером К. У. Стауном.

Адрес м-ра Портера мне неизвестен.

Искренне Ваш

Грегори Презерз».

27

«Дорогой мистер Презерз!

Мы отправим к хозяину пансионата, где жил

м-р У. Порч, столь трагически ушедший, нашего сотрудника, который попытается выяснить адрес м-ра Портера.

Мы также дали новеллы м-ра Б. С. Портера на прочтение специалистам по европейским литературам, чтобы застраховать себя от возможной мистификации.

Мы надеемся найти его адрес, ибо без этого публиковать неизвестного автора крайне рискованно.

Мы не теряем надежды на успех.

Надеемся на Ваше сотрудничество и были бы счастливы опубликовать ту Вашу работу, которую Вы сочтете возможным нам прислать.

Искренне Ваш

Самуэль Роуз,
директор «Роуз паблишинг хауз».

28

«Дорогой мистер Холл!

Уж я даже и не знаю, что мне ответить на Ваше заботливое письмо...

Беда никогда не приходит одна... Здесь, в Питтсбурге, климат совершенно иной, и это не могло не сказаться на здоровье Маргарет, нашей любимой маленькой умницы... Врачи и у нее обнаружили начало туберкулезного процесса... Все лекарства, какие есть здесь и в Европе, мы уже приобрели... Конечно, Билл ничего не знает, это подкосит его окончательно... Впереди — мрак и безнадёжность... Какой-то ужасающий рок висит над нашей семьей... За что такая несправедливость?

Вы не можете представить себе, как умна и не по летам развита Маргарет, как она похожа на отца, только глаза у нее Этол, такие же карие, широко поставленные, полные озорства, доброты и горькой мысли. На полях ее школьных тетрадей я то и дело нахожу два рисунка: принцесса в роскошном платье (этому ее научил отец, он изобретал для нее самые прекрасные костюмы) и маленькая девочка в гробике. Я боюсь спрашивать ее об этом страшном рисунке... Однажды она уже сказала мне: «Я кашляю, как мамочка».

Каждое утро я жду того страшного момента, когда на ее носовом платке появится капелька крови...

Билл пишет мне веселые письма, только иногда прорывается правда о его жизни, но он сразу же спохватывается и начинает шутить и подтрунивать надо

всем... Наверное, только такие мягкие люди, как он, обладают настоящим мужеством... А ведь мне поначалу казалось, что он слишком уж податлив, нерешителен, и я открыто говорила об этом Этол, когда они только поженились, и как же она тогда плакала от обиды за него... Каждый виноват перед каждым...

Не сердитесь на меня за такое горькое письмо.

Желаю Вам всего лучшего.

Если у Вас появятся какие-то новости про Билла, не считите за труд сразу же написать мне.

С глубоким уважением

Ваша миссис Роч».

29

«Дорогой Па!

Может быть, ты не получил моего письма или не захотел ничего предпринять, считая, что это моя очередная выдумка, а может, ничего не сумел сделать, но я тем не менее хочу описать тебе, как закончилось дело Киды.

В ночь перед казнью мальчик рассказал мне, как он со своей маленькой сестренкой Эмми убежал из дома мачехи и поселился в заброшенном подвале. Дети, они спали на досках, укрывались лохмотьями, однако счастье их было безмерно оттого, что здесь никто не мог поколотить их, выругать, оскорбить подозрением. Эмми вообще никуда не выходила из подвала — так ее забила мачеха; она боялась всего, каждого нового человека, любого непривычного звука... А Кид отправлялся утром в город продавать газеты. Он запирали сестренку, чтобы никто не смог еще больше испугать ее, возвращался с несколькими центами и парой пряников, дети садились к столу, который он смастерил из старых ящиков, Эмми варила в кастрюле воду, которая называлась кофе, и они пировали до глубокой ночи, и сестренка восхищенно шептала: «Кид, Кид, какой же ты храбрый, ты ничего не боишься, ты один выходишь на улицу и бродишь среди людей!» Когда зимой сестренка заболела, она, чувствуя приближение конца, спросила брата: «Кид, скажи, ты правда ничего не боишься?» И он ответил ей: «Я ничего не боюсь, Эмми». — «И смерти тоже?» — «И смерти не боюсь». Маленькая улыбну-

лась: «Спасибо тебе, теперь мне будет не так страшно, если придется умирать».

Утром, когда его вели по коридору в камеру, где стоит электрический стул, Кид был бледен, словно ему высыпали на лицо муку, ноги его подворачивались, но, увидав меня, он улыбнулся, Па! Он осознанно улыбнулся и с вымученной улыбкой сказал: «Здравствуйте, мистер Эл! Видите, я ж не боюсь! Я ни капельки не боюсь!»

Его пиджак был распорот по заднему шву, чтобы ток мог свободно пройти по телу, макушка выбрита, чтобы на нее наложить электрод, а брюки закатаны, чтобы легче было обвязывать икры электрическими проводами.

Хотя глаза мальчика улыбались, но мускулы его казались размякшими, нос ужасающе длинным, синим, хотя вчера еще он был веснушчатым и курносым; Кид был зажат между двумя стражниками, которые подталкивали его к стулу, а позади шел священник и невнятно бормотал слова Библии. Чем ближе к стулу он подходил, тем явственнее дрожал его подбородок, и я услышал, как его крепкие зубы выбивали какую-то стеклянную дробь.

Начальник тюрьмы Дерби подошел к креслу и сказал:

— Кид, сознайся, зачем ты утопил Боба?! Я исхопчу тебе замену казни, только сознайся!

Мальчик трясся, никак не мог справиться со своими зубами, а потом наконец пробормотал:

— А я не боюсь, я все равно не боюсь...

Тут начальник Дерби стал кричать на него и упрямить его признаться и обещал помилование, но мальчик повторил, что он не топил своего Боба, и тогда Дерби прямо-таки повис на рубильнике, и Кид стал корчиться на стуле, лицо его вытянулось и посинело, потом лопнули глазные яблоки и кровь потекла по его щекам, а затем он стал царапать ногтями ручки стула, и лишь когда запахло паленым, как бывает, когда петухов держат над огнем костра, он затих и съежился.

В тот вечер Билл Сидней Портер сказал: «Мятеж — это мысль. Мысль о том, что казнили ни в чем не виноватого человека, мальчика Кида, отныне не даст мне покоя. У меня перед глазами его лицо, а на плече я по-прежнему чувствую его руку... Когда он говорил со мною, он все время дотрагивался до меня, словно пони-

мая, что общение с живым — это и есть жизнь... Он не был виновен, Эл. Нам с вами нет прощения за то, что мы дали погибнуть мальчику. Кара настигнет нас, где бы мы ни были. Мы так же виновны, как судья, отправивший его на стул, как Дерби, включивший рубильник, как священник, смиренно читавший святое писание, как надсмотрщики, привязывавшие его худые детские ноги к электродам... Нет, мы даже более виновные, чем они... Им дано лишь выполнять приказ, а нам здесь, за решеткой, даровано высшее право мыслить... Пусть поначалу мысль бессильна, все равно она родит мятеж, и вихрь его будет ужасен».

Дорогой Па, рапорт о том, как у Кида полопались глаза, я составил вполне грамотно, без эмоций.

Я понимаю, что тебе, как судье, неприятно читать это письмо. Но ведь ты не только судья и мой отец. Ты еще гражданин, поэтому я посчитал своим долгом отписать тебе эту информацию.

Более я не стану тревожить тебя ничем и никогда.
Эл Дженнингс».

30

«Моя маленькая, нежная и любимая Маргарет!

Вот уже и кончилась моя работа в Париже. Я хотел было, бросив все дела, купить билет на пароход и отправиться в Штаты, чтобы успеть на Рождество, как мои компаньоны по фирме, весьма пристойные люди, попросили сесть на поезд и отправиться в Порт Бу, там пересесть на другой поезд и прибыть в Барселону, где хранится яхта, на которой Колумб открыл нас с тобою, то есть Америку.

Дело есть дело, родная Маргарет, мне пришлось подчиниться. Наша встреча состоится лишь в следующем году.

Я понимаю, как тебе не хочется учить латынь, как тебе надоел немецкий, однако, моя нежность, учеба — это тоже дело, и чем лучше ты его сработаешь в детстве, тем легче тебе станет жить, когда кончится обязательное и начнется то, к чему лежит твое сердечко.

Мне отчего-то кажется, что ты станешь великой путешественницей. Нет, правда! Я помню, с каким жадным интересом ты слушала рассказы о моих походах в

дальние страны, как горели твои глазенки, какие ты задавала мне вопросы, как они были умны и взрослые.

А еще мне кажется, ты будешь писать. Ты так любила сочинять жуткие истории, что меня аж мороз продирал по коже! Откуда в тебе, дочери банковского клерка, столько изобретательности?! Ума не приложу!

Когда я вернусь, непременно расскажу тебе историю про чудный бал, на котором я был недавно, нарисую наряды дам, а ты их раскрасишь так, как любила это делать раньше.

Крепко целую тебя, дочь Экс-Монтигомо Кошачьей Лапки!»

31

«Дорогой Ли!

Пожалуйста, не сердись на меня, но ни в коем случае не надо делать то, что ты предлагаешь.

Донустим, тебе улыбнется счастье, и приговор по моему делу отменят. Что дальше? Новое разбирательство. Новый суд. Новый приговор. А каким он будет? Есть ли гарантия, что разберутся толком, не сфальсифицируют, не поторопятся (или, что еще страшней, не «перемедлят»), не напутают?

Во время странствий по Южной Америке один бедолага, а звали его Дик, рассказывал мне историю про то, как разбогатевший жулик возмечтал стать шерифом. Это было в Территории, лет семь назад. Дик в ту пору промышлял контрабандной торговлей виски, а тот жуляга ему и говорит, что, мол, ты родом из Вашингтона, значит, там есть знакомые, вот тебе косая, езжай в столицу, устрой мне должность шерифа. Вернешься с победой — получишь еще одну косую и право торговать свою контрабанду под моей охраной еще два года. Что ж, бизнес! Дик отправился в столицу, зашел в шикарный отель, бросил на стойку бара пару долларов и начал вести разговор с самыми сведущими людьми Вашингтона, то есть с барменами. Переговоры касались цен на скот, интриг итальянского двора, новых выступлений в прессе графа Лео Н. Толстого, а потом, само собою, вступили в решающую стадию: «кто есть кто» в этом чиновном городе.

Через день Дик был в отеле, где жила некая миссис тридцати трех лет, красотка с темным прошлым и ясными глазами. Он положил перед нею две бумаги и ска-

зал, что, поскольку он заинтересован в том, чтобы его друг из Территории сделался шерифом Соединенных Штатов, еще три бумаги он передаст, когда получит для него назначение.

Миссис поинтересовалась, где живет будущий шериф, открыла свое бюро, вытащила картотеку на депутатов Конгресса, быстро определила того, кто сам с Юга, да и к тому же имеет хорошие связи по департаменту юстиции, бегло прочитала досье, собранное на слугу народа, в котором подчеркивалось, что неподкупный больше всего любит брюнеток, пьянеет после второго стакана виски, любит рассказывать истории про своего дедушку, героя войны Севера с Югом, кивнула, мол, годится, все ясно, попросила поставить на листочке бумаги с именем будущего шерифа букву «п», «полицейский», а то, говорит, «запутаясь, ведь столько приходится устраивать», и велела прийти за ответом через пару дней. Мой бедолага пришел, она ему в зубы конверт, поздравила, велела поприветствовать того, кого она благодетельствовала. Дик отстегнул ей еще триста баков и, не решаясь вскрыть конверт с гербом, рванул на вокзал. Через три дня он был в Территории, протянул гербовый конверт старому жулику и приготовился получить обещанную тысячу. Счастливый шериф вскрыл конверт и взвыл от ярости: там была бумага из госдепартамента, назначавшая его посланником в Эквадор! Не мудрено было миссис запутаться в клиентуре!

Кстати, судьба уготовила мне встречу с такого рода сюжетом здесь, в Колумбусе.

Один из наших банкиров, Джеймс Кросс, зарядил своего адвоката десятью тысячами баков и отправил в столицу хлопотать за себя. (Он хапанул из банка миллион.) Адвокат нашел в Вашингтоне кого надо, не знаю уж, сэра или миссис, и в тюрьму через два месяца пришла бумага об освобождении из-под стражи Джеймса Гросса. А у нас сидел мошенник почти с такой же фамилией, безденежный пария, гнить бы ему и гнить. В столице снова перепутали фамилию! Как та дамочка спутала «полицейского» с «посланником», так и здесь на свободу вышел Гросс, а банкир Кросс по сей день плачет и стенает в своей камере, оклеенной золотистыми обоями (шторы на зарешеченном окне у него, кстати, серебряные).

Я не верю в нашу справедливость, Ли, только поэто-

му я не согласился с твоим благородным и добрым предложением.

Я верю только в дружбу и творчество. И ни во что другое.

Я хочу, чтобы скорее прошли эти годы. Я мечтаю забыть их и всю оставшуюся жизнь делать то, чего я не могу не делать. Ожидание — гибель для человека, который пишет или рисует. У него перегорают все внутри. Ведь когда ты любишь, ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как о предмете своей страсти, разве нет? А если бы тебе при этом надо было постоянно справляться у почтмейстера, не пришла ли срочная корреспонденция, ездить в столицу штата на допросы, днем и ночью терзать себя вопросом: «разберутся ли на этот раз?», — разве до любви б тебе было?

Литература — это любовь, дорогой Ли.

Пиши, жду, твой

Билл».

32

«Дорогая моя доченька!

Ты себе не можешь представить, как меня потряс этот остров Борнео!

По делам службы мне пришлось отплыть из Сингапура на маленьком пароходике по морю, кишашему пиратами, акулами, летающими рыбами (у них плавники словно бы сделаны из перламутра) и стадами неведомых животных, которые вполне могут быть дельфинами (кстати, как называется дельфин на латыни? Непременно посмотри в словаре, который, мне помнится, стоял в кабинете дедушки на третьей полке возле окна).

Язык жителей острова колокольчатый, чем-то похож на английский, они маленькие и очень улыбочивые.

Самый главный рыбак Борнео, мистер Тарумбумумбу, поймал говорящую рыбу (это не шутка, я обижусь, если ты не поверишь мне!). Размер ее от хвоста до лица девяносто три сантиметра (они здесь считают именно так, не на дюймы. Кстати, сколько будет дюймов в четырехстах двадцати сантиметрах? Неужели ты сможешь сама сосчитать?!). Как думаешь, какими были ее первые слова, когда Тарабамбалу (это младший внук Тарумбумумбы, ему всего семьдесят три года) представил нас друг другу?

Ни за что не догадаешься!

«Сэр, — сказала говорящая рыба, — поверьте, я бы с радостью отправилась вместе с Вами в Штаты, чтобы Вы могли преподнести меня в подарок Вашей очаровательной дочери, но мне стало известно, что Ваше дитя категорически отказывается пить козье молоко с медом, а это ведь столь необходимо для укрепления работы бронхов! Мы начнем болтать, и у Маргарет (да, да, это создание знало твое имя) сядет голос, и я — в этом случае — не смогу смотреть в глаза ее бабушке».

Я поинтересовался, как зовут мою собеседницу. Она с достоинством ответила, что ее имя невероятно просто: Самунамурабудавана де ля Сингсонгблюз.

Когда я спросил ее, как же нам быть, я бы почел за честь отвезти ее в Питтсбург, а уж что касается козьего молока с медом, которое не пьет Маргарет, то это мы решим, я готов дать слово за дочь, де ля Сингсонгблюз ответила, что «если Маргарет выучит французский в таком объеме, чтобы написать мне письмо, пообещает выполнять все то, о чем ее просит бабушка, тогда я отправлю к ней через океан мою младшую дочь Цинлянуар де Либертэ, главное, чтобы она попала в Гольфштрим (где это, а?), о дате отплытия Цинлянуар я сообщу дополнительно».

Так что теперь все зависит от тебя.

Напиши мне свои предложения. Я вручу их Сингсонгблюз.

Целую тебя, человечек!

Папа».

33

«Дорогой Билл!

Поймите, пожалуйста, мое письмо верно.

Мы уже давно увезли Маргарет в Питтсбург, оставив Остин, чтобы, спаси Бог, она не слышала страшной правды о той несправедливости, которая так больно ударила всех нас, а ее отца — особенно.

Здесь тайна Вашего теперешнего пребывания совершенно гарантирована.

Однако письма, которые Вы ей присылаете, — при невероятной впечатлительности девочки, — то и дело рождают в ее головке слишком много вопросов, на ко-

торые нам довольно трудно отвечать. Она чувствует не только слово, но и интонацию, а в Ваших письмах при всей их видимой беззаботности столько горя... Она ощущает это, поверьте, дорогой Билл! Мы не знаем, что делать... Может быть, лучше воздержаться от того, чтобы писать ей? Мы бы придумали историю про то, что Вы находитесь в Азии, откуда крайне трудно отправлять корреспонденцию. Мы бы стали передавать ей приветы от Вас на словах, которые Вы якобы просили ей сообщить через Ваших друзей-путешественников.

Мистер Роч готов договориться со своим приятелем, живущим в Детройте, чтобы тот приехал к нам на Рождество, передал Маргарет от Вас подарок (мы уже присмотрели куклу с закрывающимися глазами) и рассказал несколько историй про Вашу жизнь в Азии.

Как бы Вы ни старались писать, подделываясь под наш обычный стиль, все равно это у Вас не получится, оттого что Вы человек особенный, и это проскальзывает во всем, в Ваших открытках Маргарет.

Я понимаю, как Вам будет горько получить это письмо, но, дорогой Билл, зная Вашу любовь к девочке, я сочла необходимым поделиться с Вами этими соображениями. Мистер Роч меня всецело поддерживает.

Если же Вам невмочь без того, чтобы писать Маргарет, позвольте мне присылать черновики, которые Вы перепишите своей рукой и перешлете нам, но только, пожалуйста, ничего не добавляйте. Маргарет невероятно умна и чувствительна, но ведь она еще такая маленькая! Мы не имеем права лишать ее самого дорогого — детства.

Пусть Господь сохранит Вас, дорогой Билл!

Ваша миссис Роч».

«Дорогой мистер Хауз!

Поскольку Ваше литературное агентство является одним из наиболее уважаемых в штате, мне бы хотелось весьма доверительным образом проконсультировать именно с Вами одно дело, в высшей мере деликатное.

Один из моих друзей давно и тяжело болен. Но при этом он много лет занимается литературным творчеством, и не мне, понятно, судить, сколь профессионально он делает это.

Однако я убежден, что если он увидит свои работы напечатанными, собранными в книжку, пусть даже маленькую, это вошьет в него силы, поможет бороться с недугом, даст хоть какую-то надежду на будущее.

Именно поэтому мне бы и хотелось просить Вас посмотреть его новеллы лично и в случае, если они понравятся Вам, сообщить мне, кто из издателей смог бы выпустить маленькую книжку его историй, причем я бы оплатил расходы на бумагу, набор и тираж.

Примите, мистер Хауз, уверения в совершенном почтении,

Ли Холл, землевладелец».

35

«Дорогой Ли!

Здесь отбывает пожизненную каторгу девушка, которую зовут Салли. Она прекрасно поет в нашем церковном хоре. Ее голос упоителен. Салли получила такое страшное наказание за то, что убила Филиппа С. Тимоти-Аустина.

Ряд заключенных всячески побуждают меня к тому, чтобы организовать кампанию (естественно, через тебя) в ее защиту.

По-человечески я ее понимаю (м-р Ф. Тимоти-Аустин отказался помочь деньгами на оплату визита доктора к новорожденному, и дитя погибло), но до сих пор я не могу переступить самого себя, ибо мне кажется, что любые хлопоты с целью смягчить ее участь могут быть истолкованы так, будто я злорадно помогаю убийце человека, который, как тебе представляется, сыграл ключевую роль в моей трагедии.

Я запутался в самом себе.

Помоги мне советом.

Билл».

«Дорогой Билл!

Ты действительно малость запутался.

Какое ты имеешь отношение к тому, как эта девушка распорядилась жизнью человека, лишившего ее ребенка? Разве она знала, что покойник сыграл такую страшную роль и в твоей судьбе?

Пришли мне все документы о ней, какие сможешь собрать. Я стану думать, как можно помочь несчастной.

Обнимаю!

Твой Ли».

«Дорогая Магда!

Большое тебе спасибо за посылку, я обожаю джемперы из ангорской шерсти, да и цвет ты выбрала самый что ни на есть элегантный.

Не советовал бы тебе шить себе наряды к осеннему сезону в Нью-Йорке в одном лишь сиреновом тоне. Поищи сочетание зеленого и серого, тебе это пойдет.

Попроси Шульца купить хорошей земли в районе Сан-Антонио, поближе к пляжам. Когда я освобожусь, мы поселимся именно там.

Запрети Фридриксену играть на бирже Цюриха, он не понимает смысла валютных колебаний, потому что далек от политики.

По поводу договора, который мне предложили подписать со «Стил индастри». Пусть его тщательнейшим образом изучат в Чикаго и Детройте. Поручи Шульцу нанять лучших экспертов и адвокатов. Что-то я опасаясь за судьбу этого предприятия.

Теперь о предложении купить акции журнала «Уорлд ревю». Это интересная идея, но их требование уплатить семьдесят тысяч смехотворно, так им и скажи. Я готов дать двадцать пять тысяч и ни доллара больше. Мне кажется, что дальнейшее развитие синема рано или поздно сделает журналы не очень-то прибыльным делом, а поскольку мне, после отсидки, нельзя будет заниматься политикой напрямую (только для этого нам и нужен журнал), пусть Шулец подумает, кто из наших людей на Холме в нем заинтересован, пусть под-

скажут имя компаньона, будем обсуждать более предметно.

По поводу отзывов на рассказы несчастного Портера. Я не стал передавать их ему, потому что они слишком жестоки.

Однако он мне пока еще нужен, поэтому ты поступи следующим образом: пригласи одного из юристов нашей фирмы, не лишнего художественного вкуса, и поручи ему посетить одну из крупных литературных контор. Пусть он намекнет там, что эти рассказы написаны таинственным человеком с крайне тяжелым прошлым. Пусть скажет, что если эти рассказы будут напечатаны, тогда в будущем издатели могут рассчитывать на новую сенсацию из тюремной жизни. Думаю, на это клюнут. Но пусть держат язык за зубами, потому что Портер болезненно самолюбив и более всего на свете страшится, как бы кто не узнал, что его судили и что он отбывает срок на каторге. Такой уж он идеалист, ничего не подделаешь.

Да, ни в коем случае не носи в этом месяце жемчуг, плохая примета, если верить китайскому календарю.

Обнимаю тебя!

Твой брат Карно».

38

«Дорогой Ли!

Бесконечно признателен тебе за письмо.

Ты не представляешь себе, как мне дороги весточки от тебя, потому что ты единственный, с кем я могу говорить совершенно откровенно. Даже с добрейшими Рочами я вынужден постоянно цензуровать себя, и так я доставил им достаточно горя, надо точно дозировать правду, ибо в противном случае они могут не уследить за собою, и Маргарет это почувствует, а это трагедия, этого нельзя допустить!

Мне все время снится один и тот же сон: Маргарет входит в спальню к миссис Роч, когда та уехала за покупками, открывает ее ларец, где хранятся письма, и читает то, что я прислал из Колумбуса, а не из «Парижа» и «Пекина». Я просыпаюсь в холодном поту и весь день хожу сам не свой.

...Да, помнишь, я писал тебе про супер-жулика Джо, который поменял свою университетскую филантропию

с игорным домом на ловлю матрон по способу «гадание, отвод дурного глаза, гарантированное предсказание будущего»? Он вернулся к нам через три месяца после освобождения: отказался поделиться заработками от своего «колдовского бизнеса» (а они действительно были гигантскими) с местным шерифом, и тот закропатил его в Колумбус за «несанкционированную врачебную практику». Его компаньон Эд по-прежнему остался на свободе. Джо в унынии, но я заметил, что после недельного сплина он снова начал посещать библиотеку, — готовит новое коварство.

Банкир Карно, подкупив администрацию, начал устраивать светские рауты с бифштексом и стаканом бургундского. Снова поменял в камере мебель, привезли парижский ампир с купидонами.

...Вчера приводил в чувство двух бедолаг, которых подвергли экзекуции. Одного спас, а второй совсем плох, вряд ли дотянет до завтрашнего дня...

Пиши!

Билл».

39

«Дорогой Билл!

Вокруг твоих новелл, которые я отправил в литературное агентство Хауза, начался бум. Ко мне трижды обращались оттуда с просьбой сообщить о тебе всякие подробности, дать твой адрес и все такое прочее.

Так что, думаю, дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Адрес твой я им, конечно, не дал, мол, автор находится на излечении в санатории под Женовой, там собрались одни боссы и знаменитости, никого видеть не хотят, ни с кем встречаться не желают. Коли, мол, намерены поддерживать с ним связь, то я к вашим услугам.

Они просят прислать им еще несколько новелл. Я сказал, что не премину отписать тебе об этом, пусть ждут. Но верь моему чутью, полоса невезения кончилась. Так что нос кверху! Победа!

Мне не очень-то, честно говоря, понравился тон твоего последнего письма, есть в нем то, что тебе несвойственно, то есть уныние. Как не стыдно!

Наш мир — в отличие от твоего тюремного — больше размером, злее в нравах и подлее в общении; у вас всё на виду, твари видны сразу же; у нас, увы, подлец может считаться самым уважаемым человеком, хотя каждому известно, что он есть на самом деле.

Я получил письмо от миссис Роч. Дома все в порядке, Маргарет очень ждет своего папу, который вот-вот вернется из увлекательнейшего путешествия по Азии.

В Питтсбурге ни одна живая душа не знает о твоей истории, так что девочка убережена от вопросов.

Я написал пару писем в газеты Детройта, Чикаго и Питтсбурга, рассказав им про то, что у меня есть друг, за которого я могу дать любое гарантийное письмо, возвращающийся вскоре из кругосветного путешествия (как ты и предупреждал, я ни словом не упоминая твою газету «Роллинг стоун»), проводший долгие годы в Аргентине, Бразилии, Гондурасе и Мексике, знающий жизнь юга нашего континента так, как никто другой.

Думаю, умные люди не смогут не заинтересоваться такого рода кандидатурой.

Так что, пожалуйста, не хандри и готовься к активной журналистской деятельности.

Крепко жму руку, твой

Ли Холл».

40

«Дорогой Ли!

Я хотел написать тебе большое письмо, но не смог сесть за стол, хотя дни были относительно спокойные, не было экзекуций, никто не умер в лазарете, раздирая сердце предсмертными криками, и не повесился в камере.

Просто-напросто та девушка, Салли, документы по делу которой я собрал, сошла с ума. Болезнь не поддается лечению, поскольку безумие ее тихое; она сделала себе куклу (из подушки), ходит с нею по камере и поет ей одну и ту же песню про храброго капитана, который вознамерился переплыть все моря, но умер от тоски по своим детям, которых оставил дома. Она поет постоянно, с утра и до ночи, не прерываясь ни на минуту, словно граммофонная пластинка. Ее песня слыш-

на арестантам, когда их выпускают на прогулку. Сначала люди не понимали, в чем дело, а потом в тюрьме началась истерика: «Пусть она замолчит!»

Салли посадили в одиночную камеру без окон. Она никак на это не реагировала. Лицо ее постоянно сосредоточено, она поет, как работает.

Я напишу тебе попозже.

Билл».

41

«Хай, Джонни!

Как дела? Не болит ли твоя рана вечером, накануне дождя? Если бы я подставил свое плечо под вторую пулю, она б у тебя не болела уже девять лет, на кладбище никому не больно! Как Па? По-прежнему держит на меня зло? Повлияй на него, чтоб он сменил гнев на милость. Я завязал отношения с поставщиками съестного для нашей богадельни, парни имеют с этого дела большие баки, у них связи, я им кое в чем помогаю, они обещали поговорить кое с кем о моем помиловании, так что если б Па поднажал, дело могло б выгореть. Фрэнк написал мне письмецо (целых двадцать семь слов, ну, разболтался!), что его пятилетнее заключение может окончиться на два года раньше, если Па прокрутит все свои судейские связи, особенно с сенатором Марком Ханна, я ж помню, как Па вытащил из тюрьги его племянника, когда тот раздел своих компаньонов по серебряному бизнесу.

Мой здешний приятель банкир Карно скоро выходит на свободу, он бы мог выйти раньше, но дяди в Верховном суде намекнули, что это будет стоить ему пятьдесят тысяч баков, а он жаден, как Иуда Искориот, предпочел отсидеть в своем здешнем будуаре лишних два года, только б не раскошелиться, а гробанул он два миллиона, куда ни крути, деньги.

Я попросил его связаться с тобою, мужик он ловкий, у него тоже есть идеи, как помочь мой пожизненный срок свести к пяти годам, хватит, на сиделся!

Билл Портер тоже готовится к свободе. Похудел, глаза запали, это не шутка — выйти из тюрьмы с клеймом на лбу, отверженным. Но держаться он умеет, вот уж что-то, а такого парня я не встречал еще в жизни.

«Давай, — говорит, — Эл, работай! Ты смачно рассказываешь свои истории, пора научиться их записывать, а потом продавать за двадцать баков в воскресный номер газеты». — «Ладно, — отвечаю я ему, — давай. А как?» — «Да проще простого. Расскажи-ка мне, как ты совершил первый налет на поезд». — «Очень просто, — говорю я ему, — надо найти место, где паровоз заправляется водой, но только чтоб это была не многолюдная станция, а разъезд. Берешь на мушку машинистов, сгоняешь их в сторону, велишь поднять руки и начинаешь работать». — «А это что такое, «работать»?» — «Ну как «что такое»? Грабить начинаешь». — «Ты же знаешь, я не грабил, не знаю, как это делается». — «Да проще простого! Идешь в почтовый вагон и берешь баки!» — «А кто-нибудь есть в почтовом вагоне?» — «Как кто? Охрана». — «Вооруженная?» — «Конечно, разве охрана бывает невооруженной?» — «А почему же они не отстреливаются?» — «Так ведь мы нападаем, а они обороняются! Кто напал, тот и выиграл». — «Значит, вы стучитесь в дверь почтового вагона, охранники распахивают двери, приглашают вас на чашку чая и передают мешки с золотом?» — Ну наивный парень, а?! Кто ж добровольно передаст мешки с золотом?! Это только дерьмо отдают добровольно, и то не всегда: начинающий фермер гоняет свое семейство облегчаться на огород, упаси бог, если кто оправится не на его земле, а в сторонке! Я начинаю ему рассказывать, что приходится довольно настойчиво стучать в дверь почтового вагона, а он свое: «Чем?» — «Как «чем»? Ясное дело, рукоятью кольца. А еще лучше для начала бабахнуть из сорок пятого под крышу, дырка останется величиною с кошачью голову, впечатляет». — «А если охранники ответят на ваш выстрел своими двумя?» — «Так у них дробовики!» — «Почему?» Как ребенок «почемукает», честное слово, абсолютный несмышлениш в наших делах. Ну, объяснил я ему, что сорок пятый калибр стоит в десять раз дороже дробовика. «А где хранятся деньги?» — «Как где? В сейфе!» — «А ключи?» — «Ключи в Банке, куда они везут деньги». — «А как же вскрыть?» — «Очень просто: упираешь кольт в затылок охранника и почтальона, они и трудятся за милую душу, пыхтят с ломом, а потом отдают содержимое». — «А если в сейфе пусто?» — «Плохо тогда дело!» — «Что, надо ждать нового поезда?» — «Ну да, новый поезд придет с полицией, те

всех нас перестреляют». — «Так ведь можно убежать?» — «От полиции бежать трудно». — «Почему?» — «Да потому что все полицейские на Диком Западе сами раньше были налетчиками». — «А как же они смогли попасть в полицию?» — «Да проще простого: заложат своих друзей, скрутят ночью, перестреляют самых ершистых, сдадут властям, вот и получают шерифские звезды». — «Ладно, теперь понял, но что ж делать, если в сейфе пусто?» — «Как что? Грабить пассажиров!» — «Так ведь они могут быть вооружены?» — «Они и с револьверами под лавки залезают». — «Почему?» — «Да потому что люди трусы. Если ты распахнул ногой дверь, гаркнул на них, они сразу потекут!» — «А если найдется человек, который выпустит в вас пять патронов?» — «Это, конечно, будет плохо, но ни разу никогда и никто так не поступал. Я ж говорю, трусы». — «Все?» — «Все, кроме женщин». — «Почему?» — «А потому что те любопытные. Им страсть как интересно на живых налетчиков посмотреть». — «Почему?» — «Да потому что ихние мужики, словно тряпки, прими, подай, пшел вон! Им настоящего хочется, чтоб можно было со всей душой подчиняться». — «Почему?» — «Да потому что баба любит сильного, им матрацы не нужны». — «И не стыдно вам было женщин грабить?» Я аж взвился: «Да я никогда их не грабил!» — «Только мужчин?» — «Конечно. Они хитрые, пока мы почтовый вагон шерудим, все свое передают бабам, а те в чулки прячут». — «Ну и как же вы поступали?» — «Чулочки берем, высыпаем содержимое, всякие там золотые челюсти, бумажники с зелененькими и платиновые часы берем себе, а сережки и обручальные кольца возвращаем женщинам. С извинением». — «Ладно, ограбили вы поезд, а потом что?» — «Как что? Потом надо смываться». — «Смылись. А дальше?» — «Погуляли маленько, и снова надо искать одиноко стоящую водонапорную башню». — «Так ведь у вас после налета много денег. Куда вы их девали?» — «Это нормальному человеку можно обойтись малым, а когда за тобой постоянно гонит полиция, деньги летят направо и налево; где обычный человек за ночевку платит доллар, нашему брату приходится отваливать четвертак. Потом очень много идет на то, чтоб откупаться от полиции». — «А это как?» — «Через третьих лиц... А вообще-то полицейским с нами выгодно работать... Почему они в перестрелке никого из наших

стараятся не убивать? Потому что невыгодно». — «То есть как это так?» — «Да вы что, ребенок? Все проще простого... Если мы убежали, тогда начинает работать бюрократия, на нас выписывают ордера и пошла погоня...» — «Ну и что? Какая полицейскому выгода от погони?» — «Ну и ну! То есть как это, что за выгода?! Им же деньги дают на это, бесконтрольные деньги! А они берут фиктивные расписки, что, мол, лошадей купили, фураж, проводнику отвалили полтысячи, врачу семьсот... Они не за нами гонятся-то, шерифы распрекрасные, а за своей выгодой, за дармовыми баками...» — «А когда ж налетчик вкушает сладкой жизни?» — «Да никогда! Вся жизнь в бегах... А если и выдастся денек-другой погулять, так сил нет, и все время ждешь, что дружок заложит...» — «Значит, ваша профессия менее заманчива, чем смежные с нею?» — «А какие профессии с нею смежные?» А Портер серьезно так ответил: «Ясное дело, какие: политик и биржевой спекулянт»... Ну юморист, а?! Я только вечером, перед сном понял, какой у него ум... Это мы все так считаем: нет ничего легче, чем сочинять всякие там книжонки, а он мне всю душу вытряс своими «почему», прежде чем я смог вспомнить, что такое налет на поезд... А ведь так все было понятно: согнал машиниста, открыл почтовый вагон, прошелся по пассажирам — и давай стрелача...

Так что ты скажи Па, что я, если только он меня выцарапает отсюда, не стану больше грабить поезда, а начну писать рассказы, благо Портер рядом, научит.

Твой брат Эл Дженнингс, спасший тебя от верной смерти.

Это я не зря подчеркнул, давай и ты поворачивайся, помоги мне».

«Дорогой Ли!

Эти рассказы — последние, которые я решаюсь послать тебе для литературных агентств. Если и эти вернут, то, значит, надо переквалифицироваться в профессионального карикатуриста, сейчас люди более охотно глядят смешные рисунки, чем читают грустные книги.

Я много думал над тем, каким псевдонимом подписать эти вещи. «Сидней», «Миллер», «Билл Бу», «Вилли Билл», настолько приелись литературным агентствам, что надо придумать нечто новое.

Знаешь, впервые я вспомнил отца, когда мне пришлось идти в карцер, а там был один креол, он к тому же плохо говорил по-английски и очень жаловался на боли в печени, но ему сказали, что он симулянт, и заточили в каземат — без хлеба и воды, на двое суток. Он потерял сознание, лежал бездыханный. Его отнесли в мертвецкую и бросили на лед. А утром он стал стонать. Его волосы, черные, с проседью, вросли в лед. Когда мы вытащили его наверх, в лазарет, он скончался. В каптерке я получил ящик с его вещами. Там были носки, старая рубашка, шляпа, проеденная молью, фотография древнего старика с надписью «Дорогому сыну от беспутного Папы, прости меня, мальчик» и оловянное кольцо. Я пошел в администрацию, чтобы узнать домашний адрес креола, но мне сказали, что адреса нет, поскольку он жил с отцом, а тот вскоре после ареста сына умер от голода, так как креол был единственным кормильцем. Оказывается, он работал почтальоном; отец, которого он трепетно любил, страдал запойной болезнью, а в газетах напечатали объявление, что доктор Снайдерз умеет лечить алкоголиков. Креол заимообразно — до получки — взял чей-то денежный перевод на сорок два доллара и отвез отца к доктору Снайдерзу, но тот, конечно, ничего не смог сделать для старика, а сын угодил к нам в тюрьму на двенадцать месяцев и три недели. Он страшно бушевал, кричал и плакал, доказывая всем, что отец умрет без него, единственного кормильца, а надсмотрщики смеялись: «Не кормильца, а поильца!» Из-за того, что он бушевал, страхась за жизнь отца, ему то и дело давали наказания, а потом стали отправлять в карцер, и все дело кончилось смертью тридцатилетнего человека с густой сединой в курчавых, когда-то черных как смоль волосах.

И вот когда мы закрыли ему глаза и положили в гроб, сколоченный из плохо строганных досок (впрочем, какая разница, в каком гробу лежать?!), я вдруг вспомнил своего отца и мою к нему несправедливость, и мне стало так горько, что нет слов передать. Я вспомнил огромный лоб отца и вечно удивленные глаза, взрывающиеся на мир доверчиво, ищуще и просто! А я по на-

ущению бабушки сжигал его чертежи, а ведь, может быть, он был близок к своему открытию, быть может, он был на грани того нового, что могло дать людям хоть какое-то облегчение в их каждодневном каторжном труде во имя хлеба насущного!

Знаешь, дети редко ценят отцов, они тянутся к женщине, к ее теплу, они ведь неосознанно помнят мать и бабушку с первых дней своих, и нет, им кажется, умнее и сильнее существ на земле, чем женщины. А ведь самые страшные удары судьбы принимают на себя мужчины, именно поэтому так суровы они, так редко ласкают детей, так часто обрушиваются в пьянство. Когда женщине нечем кормить ребенка, она сокрушается о нем лишь, об одном, маленьком, а мужчина чувствует, как разрывается сердце не только за дочь или сына, но и за ту, которая решила стать его подругой. Боль за двоих страшнее, чем боль за одного, тут арифметика, а не геометрия, это понять просто, но понимание это приходит к людям, когда отцов нет в живых уже, сиротство и одиночество.

В первые месяцы моего заключения соседом по камере был Нельсон Грэхэм, он угодил к нам, потому что грабил в аристократических районах, но он стал заниматься этой работой лишь после того, как испробовал все пути, чтобы получить место на службе, а у него было двое детей, и их надо было кормить... Боже, как он плакал по ночам, Ли! Он весь трясся под суконным, пропахшим карболкой одеялом, рвал зубами подушку, чтобы никто не услышал его слез и не увидел их — в тюрьме такое мало кому прощают, слабого затаптывают, закон выживания, ничего не поделаешь... Когда он получил письмо, что его жена вышла на панель, а детей отдала в приют, он умудрился повеситься на простыне, а у нас такие дырявые и старые простыни, что только можно было диву даваться, как он набрался смелости на такой шаг — останься в живых, сидеть бы ему в карцере пару недель, как пить дать...

А Ричард Прайс?! Он получил бессрочную каторгу за то, что открывал самые надежные сейфы банков, и делал это не оттого, что родился взломщиком, а потому, что нечем было кормить маму. Ты думаешь, это просто — вскрыть сейф?! О, это страшное и кровавое искусство! Прайс спиливал напильником кожу с пальцев и ощущал ею секреты шифра, понимаешь? Он

провел в тюрьме больше пятнадцати лет и уже смирился с мыслью, что здесь и умрет; он был лишен права на переписку — то, что поддерживало Надеждой одних, для него оказалось спасением, потому что он был отрезан от Памяти по своей семье; ему были запрещены свидания, ни одного за пятнадцать лет; даже газет и книг ему не давали — дядя Сэм умеет сурово наказывать тех, кто посягает на святая святых — Ее Величество Собственность! И надо ж было случиться такому, что в здешнем банке дал деру один босс, прихватив с собой ключи от сейфа! Тюремщики пообещали Прайсу свободу, если он вскроет сейф, и подтвердили свое обещание тем, что позволили ему написать письмо домой, и он получил ответ, и мама писала, что ждет его, любит его и верит в его благородство, и Прайс спилил кожу на пальцах и открыл сейф, а его за это отправили не на свободу, а в ледяной карцер. Как он плакал перед смертью, как он рвал грудь своими окровавленными пальцами: «Зачем?! Ну зачем?! Зачем?!» А ведь он пошел на это только во имя семьи, во имя кого же еще?!

Поэтому я долго размышлял, дорогой Ли, чем я могу искупить свою невольную вину перед отцом. Я ведь не только сжигал его чертежи и модели, я ревниво следил за тем, с кем из женщин он раскланивается на улице, ибо память об умершей маме была для меня дороже живого отца. Ах, разве можно выразить все это в письме? Много рассказов потребно для того, чтобы составить некую картину общего, да и получится ли такого рода картина? Кому она по плечу? Наверное, будущие поколения смогут судить о жизни своих предшественников не по романам одного писателя, но по творчеству многих. Даже Христос имел помощников, и правда его времени запечатлелась в их рассказах, столь, казалось бы, одинаковых по сюжету, но таких разных по языку, характерам и стилям!

В нашей жизни существует два вида борьбы.

Первый: человек видит несправедливость, то, что мешает жить окружающим, что развращает их, унижает и губит. Он восстает против этого каждый день, час, каждую минуту. Он борется со злом так, как только может, всеми способами, ему доступными.

(Если бы я избрал этот путь, я был бы обязан переслать тебе документы о том, как здесь жульничают,

покупая хорошую пищу, а заключенным дают помой, выручка — в свой карман; я был бы должен объявить голодовку, пойти в карцер и на экзекуцию, когда казнили Кида; я был бы обязан поднять голос против неравенства даже здесь, когда «банкирам» можно все, обычным бедолагам — ничего, и за это бы мне прибавили срок, и неизвестно, вышел бы я из тюрьмы или нет.)

Второй: человек знает несправедливость, видит все то, что развращает, унижает, оскорбляет людей, но он чувствует в себе силу бороться не с локальным злом, каждодневным и ежечасным, а Огромным, Всеобщим. Такого рода чувство приходит лишь к тем, кто одарен даром Мелодии, Цвета и Формы или же Слова.

Я рискнул избрать второй путь.

Я пошел во имя этого на временные компромиссы с совестью, ибо мне нужно было выждать и выжить, чтобы отдать всего себя этой моей борьбе.

Не знаю, смогу ли я преуспеть на этом поприще.

Я сделаю все, чтобы смочь.

Теперь о моем псевдониме: помнишь песенку нашей ковбойской молодости: «Скажи мне, о, Генри!»? Или история с моим французским коллегой, фармацевтом Оссианом Анри? Я тебе рассказывал о нем, когда мы ехали к границе... Мы ведь тоже звали его на американский манер «О'Генри», экономия времени прежде всего, а фармацевтика — моя детская страсть. И еще: папу звали Олджернон. С нашим языком не соскучишься — пишется «а», читается «о». Олджернон Генри. О. Генри.

Жду ответа с надеждой, а потом — будь что будет.

Твой каторжник Билл, или, если угодно, литератор
О. Генри».

«Колумбус.

Начальнику тюрьмы м-ру Дерби.

Срочно освободите из-под стражи приговоренного к смерти Кида за убийство его друга Боба Уитни. По настоянию репортера газеты «Пост» м-ра Грога бы-

ло проведено повторное расследование, и оказалось, что Боб Уитни не был утоплен Кидом в реке после ссоры, а сбежал от родителей и в настоящее время проживает в Пенсильвании.

Выдайте Киду пять долларов из бюджета тюрьмы и оплатите билет за проезд к месту проживания.

Прокурор Дэйв Кальберсон».

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	62
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	151

Семенов Ю. С.

С 30 Псевдоним. — М.: Мол. гвардия, 1986, — 206 с.,
ил. — (Стрела).

80 к. **200 000** экз.

Драматическая судьба американского новеллиста О. Генри служит иллюстрацией обстановки Америки 1880-х годов, времени спекулятивного ажиотажа и начала активной империалистической внешней политики США. Повесть «Псевдоним» (версия судьбы О. Генри) наполнена социально-критическим пафосом.

С 4702010200—107
078(02)—86 — 210—86

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 4688

Юлиан Семенович Семенов

ПСЕВДОНИМ

Редактор **Т. Костина**

Рецензент **А. Беляев**

Художник **Б. Федотов**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **Г. Прохорова**

Корректоры **А. Долидзе, Т. Крысанова**

Сдано в набор 02.10.85. Подписано в печать 18.03.86. А01467.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-
отт. 11,34. Учетно-изд. л. 10,8. Тираж 200 000 экз. (1-й завод
75 000 экз.). Цена 80 коп. Заказ 1738.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, К-30, Сушчевская, 21.

В 1985 году в серии «Стрела»
вышли следующие книги:

А. Безуглов. Хищники.

В. Чванов. Соучастие.

Ю. Кларов. Пять экспонатов из музея
уголовного розыска.

А. Имерманис. Призраки отеля «Гол-
ливуд».

В. Гусев. Шпагу князю Оболенскому.
«Приключения-85».

80 коп

Юлиан Семенович Семенов родился в Москве в 1931 году. Окончил институт востоковедения. Начал печататься в 1958 году. Автор повестей «Дипломатический агент», «49 часов 25 минут», «При исполнении служебных обязанностей», «Петровка, 38», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ